

З. Г. ФРЕНКЕЛЬ

И ЕГО «ЗАПИСКИ И ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОЙДЕННОМ ЖИЗНЕННОМ ПУТИ»

Автор предлагаемых читателю мемуаров — выдающийся учёный в области социальной гигиены, один из основоположников социальной геронтологии, действительный член Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки, профессор Захарий Григорьевич Френкель. Он прожил необыкновенно долгую и плодотворную жизнь: (родился в 1869 г., а умер на 101-м году жизни — в 1970). И всегда главным смыслом и целью его славной и порой весьма нелёгкой деятельности была борьба за здоровье людей, улучшение условий их обитания и увеличение продолжительности активной жизни.

Будучи внешне мягким, спокойным, деликатным и даже застенчивым человеком (настоящим «чеховским» типом интеллигента), Захарий Григорьевич в то же время отличался огромной работоспособностью, несгибаемой принципиальностью, бескомпромиссностью в отстаивании своих демократических и гуманистических взглядов и убеждений и обладал большим организаторским талантом. Многогранная природная одарённость, выдающаяся эрудиция позволили З. Г. Френкелю добиться больших успехов в различных областях науки, в практических делах и в общественно-политической деятельности. Он не признавал пассивного отношения к окружающей действительности, а стремился активно участвовать в борьбе за её улучшение.

З. Г. Френкель занимался всеми аспектами проблем населения: демографией, гигиеной российских городов, социально-экономическими и правовыми аспектами медицинского обслуживания различных групп населения России, а позднее — СССР, повышением их образованности и культуры. В решении всех этих проблем учёный использовал богатейший опыт своей успешной работы в земских учреждениях, с одной стороны, и опыт практического участия в проектировании новых крупных городов на территории СССР, в организации их водоснабжения и канализации, всестороннего благоустройства. Личное участие в осуществлении важных

социальных проектов, как в дореволюционной, так и в послереволюционной России и неуклонное стремление к обобщению опыта позволило ему стать автором множества статей и монографических исследований по важным направлениям формирования и развития как социальной инфраструктуры, так и местного самоуправления. Многие его труды известны не только в нашей стране, но и за рубежом, а некоторые не утратили своей актуальности и в наши дни. Обширная библиография трудов З. Г. Френкеля включает в себя около 400 работ, в том числе ряд монографий, руководств и пособий. Исклчительно широкие теоретические знания и личное знакомство З. Г. Френкеля с практикой развития санитарно-гигиенического и коммунального дела во многих городах России и Западной Европы позволяли ему выдвигать новые идеи, которые впоследствии прочно утвердились в сознании советских градостроителей и санитарных врачей (озеленение домовых и внутриквартальных территорий, идея комплексной застройки микрорайонов, создание «спальных» районов и многие другие).

В литературном наследии З. Г. Френкеля особое место занимает рукописный труд — его автобиографические записки. По-существу это тоже монография, имеющая большое познавательное значение, поскольку в ней отражена не только личная жизнь автора, но и важнейшие факты и события, происходившие в нашей стране на протяжении почти 90 лет на рубеже двух исторических эпох. Полно и живо показывает З. Г. Френкель жизнь в дореволюционной Украине и России, систему гимназического и университетского образования. Будучи земским врачом, он доступно и интересно рассказывает о развитии земской медицины и санитарного дела в конце XIX — начале XX века.

Из мемуаров З. Г. Френкеля мы узнаём не только о его профессиональной деятельности, но и об его участии сначала в студенческих общественных движениях, а затем и в политической борьбе, как в дореволюционные годы, так и непосредственно в период Февральской и Октябрьской революций, в рядах кадетской партии. Именно последнее обстоятельство стало причиной того, что, несмотря на положительные отзывы Президиума АН СССР (№ 1-23-670 от 26/7-1958 г.) и постановление Президиума АМН СССР (№ 45 от 29 июля 1959 г.) об издании воспоминаний З. Г. Френкеля (см. фотокопии обоих документов), они так и не были напечатаны при его жизни и оказались недоступными для широкого круга читателей, а из того единственного машинописного экземпляра, который хранится в рукописном отделе Российской национальной библиотеки, автор исключил многие «политически опасные места». В частности, изъяты были фрагменты воспоминаний об участии Захария Григорьевича в полемике с большевиками по аграрному вопросу в 1-й Государственной думе, а также о его работе в ЦК кадетской партии в период Февральской и Октябрьской революций. Однако они сохранились в черновых вариантах рукописи и включены в предлагаемую публикацию, так же как и раздел об аресте и пребывании Захария Григорьевича в тюрьме в период сталинских репрессий, который многие годы хранился в спецхране и читателям не выдавался.

После окончательного установления советской власти в стране З. Г. Френкель отошёл от участия в политической борьбе и полностью по-

святил себя научно-преподавательской работе, по-прежнему продолжая при этом сохранять свою активную жизненную позицию. Во всех своих трудах он неутомимо говорил о путях создания людям наилучших условий жизни и делал всё, чтобы содействовать развитию в нашей стране народного здравоохранения. Он стучался во все бюрократические двери: выступал с докладами в Наркомхозе, Наркомздраве, Госплане и в других инстанциях. В качестве консультанта, эксперта и руководителя экспедиций Захарий Григорьевич объехал почти все крупные города страны, добываясь от властей гуманного отношения к нуждам людей. При этом он не только учил других, но и всю жизнь не переставал учиться сам.

Из «Воспоминаний» З. Г. Френкеля мы видим, какое огромное внимание уделял он подготовке новых медицинских кадров, специалистов в области санитарного дела. Начиная с 1913 г. он последовательно основывал кафедры и читал лекционные курсы по гигиене и санитарии в медицинских и технических высших учебных заведениях Петрограда–Ленинграда. С 1913 по 1949 гг. — в Психоневрологическом институте (медицинский факультет которого с 1919 г. стал именоваться Государственным институтом медицинских знаний (ГИМЗ)), а с 1924-го — 2-м Ленинградским медицинским институтом (ЛМИ), Санитарно-гигиеническим медицинским институтом (ЛСГМИ). В настоящее время это Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова). С 1924 по 1953 гг. З. Г. Френкель руководил кафедрой коммунальной и социальной гигиены в Институте усовершенствования врачей (ГИДУВ); в 1922–1926 гг. — в Политехническом институте; заведовал кафедрой общего благоустройства в Институте коммунального хозяйства и др.

Параллельно с педагогической работой З. Г. Френкель много сил и знаний отдавал научно-исследовательским учреждениям: с 1918 по 1933 гг. он руководил отделом коммунальной и социальной гигиены Музея города; состоял председателем учёного совета Института коммунального хозяйства; в 1931–1934 гг. заведовал сектором гигиены Ленинградского института экспериментальной медицины (ИЭМ); в разные годы возглавлял отдел социальной патологии в НИИ туберкулёза и в научно-исследовательском санитарно-гигиеническом институте; был постоянным консультантом Научно-методического бюро санитарной статистики Ленинградского городского отдела здравоохранения.

Долгие годы Захарий Григорьевич возглавлял работу Ленинградского отделения Всероссийского гигиенического общества. Создав в 1957 г. городское научное общество геронтологов и гериатров, он определил основные пути развития геронтологии (биологии старения, гериатрии и социальной геронтологии), как науки, и её практическое воздействие на совершенствование социальной инфраструктуры.

Самая, пожалуй, главная работа З. Г. Френкеля «Удлинение жизни и активная старость» (Л., 1945) была завершена в трагические и героические дни блокады Ленинграда, который он отказался покинуть в 1941-м и в последующие годы. Эта книга пользуется широкой известностью. Она была переиздана АМН СССР в 1949 г. под названием «Удлинение жизни и дея-

тельная старость», затем переведена на венгерский и чешский языки, и цитируется многими иностранными учёными.

Концепция удлинения жизни в современном обществе явилась венцом, логическим завершением всей предшествующей научной работы З. Г. Френкеля и его практической борьбы за улучшение условий и качества жизни населения. В своей книге он выступает всё с тех же передовых позиций. Он рассматривает продление жизни не как биологическую, а как социальную проблему, направленную на то, чтобы дольше жили не отдельные счастливицы, а все люди, принимающие участие в трудовой деятельности общества в целом. В предисловии к своей книге З. Г. Френкель пишет: «Жизнь это движение, а не покой, это активность, это действенность. Продление жизни в социальном понимании — это удлинение сроков деятельности людей в человеческом обществе: сроков их участия в производственной жизни, в общественном творчестве и борьбе. Удлинение жизни — это не добавка нескольких лет жизни на покое, в отставке, на пенсии. Нет, это создание условий для общественно полезной работы в старости». Таким образом, рассматривая вопрос сохранения и продления жизни каждого человека, учёный видит в нём не индивидуума, а неотъемлемую часть трудового, культурного и общественного потенциала всего общества в целом.

Захарий Григорьевич убедительно обосновал необходимость максимального отдаления пределов смерти людей на те возрастные рубежи, когда она становится естественной (т. е. до 80–90 и даже свыше ста лет) и выдвинул программные гигиенические требования достижения устранения болезней и других вредных влияний, ослабляющих население, для предупреждения его заболеваемости, а значит — и смертности в ранних возрастах и создания, таким образом, поколений, которые приходят к старости бодрыми и сохраняющими потребность активного участия в трудовой деятельности общества. Выдвинутый в своё время З. Г. Френкелем принцип гласил: «Увеличение средней продолжительности жизни советских людей является источником пополнения кадров путём удлинения срока использования приобретённых навыков, опыта, знаний пожилых и старческих групп в населении».

По оценке учеников и последователей З. Г. Френкеля, «...с современных позиций его концепция оказалась в полном созвучии с тем путём, по которому пошла возникавшая новая отрасль медицинских знаний — геронтология, что и подтвердило её жизненность. И за это, за способность предвосхитить закономерное движение науки, мы отдаём сегодня должное последнему представителю земской медицины... Спустя 55 лет после окончания войны, мы вправе сказать о том, что при подготовке своей книги учёный не только сформировал свою новую концепцию, в корне изменившую бытовавшие до того представления, но и совершил особый подвиг. Именно в этот тяжёлый час [блокады] 75-летний академик испытал потребность заявить о своём понимании величайшего социального блага человека — его права на жизнь. Жизнь долгую, дающую человеку возможность наиболее полного выявления его потенциальных возможностей. Жизнь здоровую, т. е. не обременяющую общество. Жизнь деятельную, т. е. дающую человеку право на социальное творчество на всех этапах его жизни, начиная со

становления его личности, её социализации до завершения его индивидуального существования».

Большой интерес представляют в воспоминаниях З. Г. Френкеля описания его встреч со многими выдающимися учёными, общественными деятелями, политиками и другими известными людьми дореволюционной России и его коллегами по работе в советское время. Перед нами проходит галерея учеников Захария Григорьевича, многие из которых сами стали крупными учёными. Всё это и многое другое читатель узнает из подробных и честных рассказов автора предлагаемых записок.

Рукопись воспоминаний З. Г. Френкеля составлена из вариантов, хранящихся в архивах Самофалов, Жаковых, Кузнецовых и других потомков автора. Собрание и набор текста, подготовка его к печати, составление примечаний, комментариев и приложений осуществлён Р. Б. Самофал. Сокращённый вариант опубликован: *Френкель З. Г. Записки о жизненном пути. Вопросы истории.* 2006. № 2–12; 2007. № 1–8. К сожалению, в журнальной публикации опущенными оказались многие места, в которых учёный раскрывал самую суть своей профессиональной деятельности. Большим сокращениям подверглись воспоминания, касающиеся послереволюционных лет, когда З. Г. Френкель находился в самом расцвете своих творческих сил и возможностей. Так, весьма скупо оказалась освещена его работа в созданном им Отделе коммунальной и социальной гигиены в Музее города, которой он отдал 15 лет жизни (1918–1933), а также суть его понимания проблем старости и продления активной фазы человеческой жизни; но особенно сильному сокращению подвергся текст, в котором освещаются последние 25 лет жизни и деятельности учёного (1945–1967). Стремясь как можно скорее закончить публикацию обширных мемуаров З. Г. Френкеля, редакция фактически превратила текст последних трёх разделов в тезисы. Вот почему нам кажется необходимым издание воспоминаний учёного в виде полноценной монографии.

В подготовке рукописи и подборе фотографий большую помощь оказали старший внук Захария Григорьевича — К. С. Самофал, правнучка — Н. К. Федорченко и праправнучка — К. А. Федорченко; внучка — Т. И. Харитоновна (Френкель); правнук — З. Л. Жаков, правнук — А. А. Кузнецов; потомки Сергея Григорьевича Френкеля — О. А. Лисицына, С. А. Лисицына и А. А. Лисицын; правнучка Александры Григорьевны Френкель (Черноголовко) — А. Л. Парахонская; внучка Евгении Григорьевны Френкель (Левицкой) — Е. И. Левицкая, а также другие потомки и родственники автора предлагаемой читателю книги. Часть списка трудов З. Г. Френкеля предоставлена историком медицины Р. Ш. Бахтияровым.

Кандидат исторических наук *Р. Б. Самофал*
Кандидат медицинских наук *Р. Ш. Бахтияров*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уже давно являлась у меня мысль подытожить в автобиографических воспоминаниях и записках основное содержание всего пережитого мною на долгом жизненном пути, отметить накопившийся и влиявший на склад личности жизненный опыт, помянуть словами признательной памяти выдающихся людей, с которыми сводила меня судьба. Пересматривая мои ежедневные заметки за наиболее тяжёлые месяцы блокады Ленинграда, я встречаю следующую запись 26 декабря 1941 года: «Сегодня ночью повторные сирены воздушной тревоги, непрерывный грохот зениток, гул обстрела, взрывы бомб и снарядов отгоняли от меня сон. Вновь и вновь пробегал я мысленно различные этапы моей жизни. Как складывалась личность, т. е. совокупность приёмов действия, поведения, переживаний в обстановке жизни? Передо мной проносились возникавшие столько раз стремления и мысли, их сопровождающие. Сколько было в жизни моей положений, полных захватывающего интереса и глубокого драматизма! Сколько богатых содержанием встреч с людьми первого ранга, с драгоценными самоцветами людского мира! Никифор Иванович Лукьянович, Анна Ник. Деген-Ковалевская, Иван Андреевич Дмитриев, Ник. Александрович Огородников, Иван Васильевич и Павел Васильевич Шулепниковы, Пётр Иванович Куркин, Владимир Иванович Вернадский, Дмитрий Иванович Шаховской, Владимир Валерьянович Подвысоцкий, Савва Артемьевич Самофал и много, много других. Писать систематические воспоминания — этого я не хочу, не смогу: неисчерпаем материал, да и нет мотивов всё и все положения освещать и закреплять. Есть слишком много сторон и явлений в жизни, которых касаться бесцельно. Но всё же следует завести папку для некоторых моих воспоминаний».

Да, прожить долгую жизнь, полную напряжённого труда и борьбы, — это не поле перейти. Тут и чистое поле, и тёмный дремучий лес, и ровная дорога, и «кособоры да овраги», по которым катит, по словам нашего великого Пушкина, «телега жизни» в жизненный полдень, тут неожиданные крутые обрывы и внезапные повороты, бурные водовороты и тихие заводи... И через всё это протягивается нить той жизни, которая предстаёт перед нашим сознанием, как наша собственная жизнь, как некое «целостное единство», сохраняющее своё преемственное тождество на всём своём протяжении.

С чего же, с какого момента начинается в нашем сознании наш жизненный путь, наша демографическая «линия жизни»? Как возникает, из чего складывается, что входит в содержание нашей «целостной» личности? Чем поддерживается сознание единства этой нашей личности во времени, нашей единой жизни в сменяющиеся различные её периоды?

Когда длинный жизненный путь уже позади, когда «исчезают позади звёзды, светившие в жизни, издали идёт и близится брат забот и тревог — смерть» (Гёте), заманчивым кажется желание попытаться в личных своих воспоминаниях подойти к поискам материалов для ответов на эти возникающие в нашем сознании вопросы. И в то же время жизнь — ведь это наша песня. Мотивы и мелодии её слагаются и напеваются нами, пока колесит наша «телега жизни»¹, погоняемая неумолимым ямщиком — временем. Под стук колёс этой «телеги жизни» мы напеваем слагающуюся у нас песню, пока, наконец, не убеждаемся, что «песенка наша спета». Но вот ближе к концу жизненного пути слабеет и смолкает наша песня, а «телега» всё ещё неудержимо катит, подгоняемая временем, и тогда в памяти оживают напевы и мелодии, слагавшиеся на оставшемся уже позади жизненном пути, оживают мысли, решения, стремления, родившиеся и окрепшие в суровой школе жизни под воздействием опыта, выстоявшие под её гнётом, её ударами. Оживают и зывают словами Тараса Шевченко:

Раз добром нагріте серце
Вік не прохолоне.

А деж твої думи, рожеві квіти?
Доглядани, сміли, вихохані діти?
Кому ти їх, друже, кому передав?
Чи може навікі в серці заховав?

Ой, не ховай, брате, разсып их, раскидай.
Зійдуть и ростимуть и у люди вийдуть.
(Сон. 1844 г.)

З. Френкель

¹ Замечательное своё стихотворение «Телега жизни» А. С. Пушкин написал в 1818 г., когда ему шёл ещё только девятнадцатый год:

Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везёт, не слезет с облучка.

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошёл, кузькина мать!

Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас; нам страшней
И косогоры и овраги;
Кричим: полегче, дуралей!

Катит по-прежнему телега,
Под вечер мы привыкли к ней,
И дремля едем до ночлега,
А время гонит лошадей.

I. ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ПЕРИОДА ДЕТСТВА

До поступления в школу

Моё самое раннее воспоминание не связано в непрерывную цепь с последующими. В виде отдельного, вполне яркого обрывка сохранилось оно в моём сознании. Это воспоминание о грозе и ливне, от которого нужно было спастись, карабкаясь по крутому, обрывистому берегу реки. С совершенной достоверностью встаёт у меня в памяти картина: мы плывём в небольшом баркасе — отец, мать, старшая сестра и я. Ослепительная молния освещает косые струи дождя. Оглушительный раскат грома. Не знаю, когда это происходило, но дело было, по-видимому, в праздник. Я ясно помню, что надет на мне был впервые новый костюм, и я больше всего думал, что он пропадёт от дождя. На мне был картуз. Врезалось в память, что я был ещё очень мал. Отец подгоняет лодку к берегу, выскакивает из неё, держит и кричит матери тащить меня на берег. Очевидно, я ещё не мог выскокить самостоятельно. Мы по «стёжечке»-тропинке спешим выкарабкаться наверх, к стоящей у самого берега полуразвалившейся каменной церкви. Опять молния и гром, но мы уже стоим под церковными сводами¹. Когда я рассказывал, будучи уже большим, об этом моём отрывочном воспоминании, отец и мать подтверждали, что такой случай был в 1872 г., когда действительно в Старгородке, подле Остра, мы были застигнуты грозой на реке и спасались от ливня в развалинах старинной церкви. Так как мне было только три года, то отец решительно не допускал, чтобы в памяти у меня могли сохраниться так ясно впечатления столь отдалённого прошлого. Но достоверно, что позднее я не бывал в Старгородке и крутого берега и развалин Старгородской церкви не видел. У меня остаётся полная уверенность, что это действительно наиболее раннее оставившее след в моей памяти воспоминание. Очевидно, слишком глубокое было впечатление от

¹ Позднее внуки Захария Григорьевича нашли и сфотографировали эту церковку. Ею оказалась так называемая «Юрьева божница» на левом берегу р. Остёр близ Старгородка, основанная Юрием Долгоруким за 20 лет до основания Москвы.

ливня и грома на реке, от потоков воды с кручи берега, по которому мы забирались, спасаясь от грозы.

Такое же яркое другое воспоминание, но уже не в виде несвязанного с другими событиями отрывка, а как часть соответствующего периода ранней жизни, выступает и стоит передо мною, точно я сейчас переживаю его.

Непосредственно за нашим садом начинался ряд небольших домов на одной из окраинных улиц г. Козельца. В жаркий летний день мы с братом Серёжей, забравшись в кусты, объедали уже созревший крыжовник и вдруг увидели клубы густого чёрного дыма, вырывающиеся из соседнего дома. Разумеется, мы побежали туда. Там, голося и причитая, женщины выносили и выбрасывали из открытых окон всякий скарб. Сбегался народ. У кучи утвари сидела женщина с малым ребёнком. Порывы ветра разносили искры и языки пламени. Приехала одна или две пожарные бочки. Они заезжали в наш сад, к недавно вырытому пруду, черпаками на длинных держакках черпали из пруда и заливали в бочки воду, а затем подъезжали к горевшему дому и вёдрами заливали водой растасканные баграми отдельно горевшие брёвна. Появился в ризе, с крестом и кропилом, отец Семён. Вместе с дьячком они носили распятие, пели молитвы. Отец Семён славился тем, что он «отворачивал ветер» в безопасную сторону, чтобы оградить от огня соседние дома. Его и вызвали, очевидно, жители не пострадавшего, а соседних домов. Довольно скоро дом сторел. Другие же дома уцелели, но пожарные долго ещё ведёрками заливали догоравшие головни на пожарище.

Это был первый виденный мною в жизни пожар. Картина его со всеми деталями сохранилась у меня в памяти. Хронологическая дата этого пожара легко устанавливается, т. к. он случился на второй год нашей жизни в арендованном отцом хозяйстве с садом и домом на окраине г. Козельца в 1874 г. Следовательно, мне шёл уже пятый год. Об этом периоде в памяти у меня встают уже не разрозненные, а связанные в общую цепь воспоминания.

Сад мне казался несказанно большим, хотя, как восстанавливаю теперь по памяти, в нём было лишь несколько плодовых деревьев и немного ягодных кустов. В конце прямой средней дорожки стояли две липы. Мне они казались невероятно высокими. Мы с братом стреляли из самодельного лука и камешками из резиновой рогатки, постоянно охотясь в саду на сорок, сорокопутов и дроздов. Но ни одна стрела из лука, ни один камушек из рогатки не достигали до вершины этих двух сказочно огромных лип. Так они и остались в моей памяти деревьями-великанами. Много лет потом я не бывал в Козельце. Но вот случайно в 1906 году, т. е. спустя более 30 лет, я попал в этот город. Мне захотелось посмотреть на эти жившие в моей памяти липы-великаны. С изумлением я должен был разочароваться в них. В полуопустошенном небольшом саду в конце средней прямой дорожки стояли две старых липы довольно скромных размеров, не имевшие ничего общего с памятными деревьями-великанами. Я внимательно осмотрел и их, и уцелевшие кусты, и заросший, заплесневевший пруд — всё было на прежнем месте... Липы стояли на своём месте, но я стал другим, иным масштабом мерил, по-иному воспринимал окружающее.

Из этого же периода 1874–1875 гг. хорошо помню, как отец отводил и размерял место в конце сада в низине для рытья пруда и как потом пришли

«грабари» и много дней копали пруд. Вырытую землю раскладывали у берегов пруда, а потом прокопали канаву от реки Остёр к пруду и из пруда обратно в реку, так что пруд имел проточную воду. В пруду потом купался отец и какой-то часто бывавший у нас знакомый, носивший военную форму.

К этим же годам относятся и мои воспоминания об учителе Ивановском, жившем у нас и занимавшемся со старшим братом Яковом, которому в то время было уже лет 14. Родился он в год отмены крепостного права, т. е. в 1861 г. В то время Яков учился в Козелецком «уездном училище». Обязательная форма учащихся таких училищ включала фуражку с красным околышем. Мы его так и дразнили — «красный околыш». Старший брат был страстным любителем голубей. У него были голуби разных пород, в том числе особо дорогие — «турманы». Их он выпускал и особыми криками и свистом заставлял взлетать вверх и оттуда падать, перевёртываясь несколько раз в воздухе. На чердаке, под соломенной крышей дома, были гнёзда голубей; мы постоянно видели, как самцы загоняли голубок в гнёзда, чтобы они сидели на яйцах. Слуховое оконце на чердаке было снабжено затвором, который при помощи длинного шнура брат захлопывал, если вместе со своими в оконце влетали и чужие голуби. Это служило источником ссор, доходивших до драк, с хозяевами залетевших голубей, такими же увлечёнными страстью к «вертунам», турманам и другим породам голубей. Вспоминаю случай, когда гнавшийся за голубями молниеносно быстрый ястреб с разгона влетел через оконце на чердак, и был там захлопнут. Не помня себя от возбуждения, мы вместе с Яковом вскочили на чердак. Ястреб был пойман. Лёжа на спине, он отчаянно защищался когтями. Наконец, его крылья были туго перевязаны, и он был отдан на растерзание собакам.

С такой же страстью, как и голубями, брат увлекался ловлей певчих птиц — щеглят, чижей, снегирей, синиц и др. Естественно, что учёба была у него в загоне. Учитель Ивановский жаловался отцу. Отец с запальчивостью бранил брата, угрожал ему и разрешал Ивановскому применять физические наказания. Ивановский нередко страдал запоями и в пьяном виде бил брата линейкой. Яков был не робкого десятка и умел по-своему мстить Ивановскому. Эти сцены наказаний старшего брата остались в моей памяти одним из наиболее мрачных воспоминаний детства. Так же тяжело и воспоминание о приездах на двуколке толстобрюхого уездного надзирателя Солодского (до введения станковых приставов и урядников надзиратель заменял их) — мелкопоместного владельца соседнего хуторка. Он всегда приезжал в погоне за своей женой, убежавшей от его побоев и часто спасавшейся у нас. Его угощали, говорили, что жена к нам не приходила. Он мирно и любезно беседовал. Но если, бывало, заставал жену, кстати сказать, очень милую, весёлую в его отсутствие женщину, — неудержимо и яростно бросался на неё, хватал за волосы, валил и тащил по земле, приговаривая:

— Вот тебе волостное управление и земский суд!

Никакая защита не имела успеха. Он увозил «свою собственную» жену, громко рыдавшую. Жалость к ней вызывала у меня слёзы. Гнев, злоба, возмущение жестокостью Солодского закипали во мне.

В те годы наша семья ещё не была так многочисленна, как впоследствии. Однако нас, детей, уже было шестеро — три сестры и три брата: Вера, рож-

дённая в 1858 г., Яков — 1861, Софья — 1863, Юлия — 1865, Сергей — 1868 и я, Захарий, родившийся в декабре 1869 года. Позднее семья разрослась до десяти детей. Подросли расходы на обучение, когда четверо одновременно учились в гимназиях. Тогда постоянные заботы о содержании семьи, о воспитании детей повлияли на характер отца. Но в ранний период детства в Козельце я помню отца ещё без седых волос. Страстный любитель охоты, он всегда имел охотничью собаку. На стене в его комнате, на ковре с вытканной легавой собакой, несущей утку, висела двустволка. По вечерам отец с увлечением играл на скрипке. Многие его любимые мотивы я помню до сих пор. Это украинские песни: «Ой, не ходи, Грицю, та на вечерниці», «Стоит явир над водою» и др. Для нас — для меня и Серёжи особенно — было занятно, когда отец раскладывал краски и кисти и рисовал на больших листах бумаги. Любимым сюжетом его картин был лес, густые заросли «очерета» (тростника) и кустарников, через которые пробирается дикий кабан.

По-видимому, в то время отец очень любил общество. К нему часто приезжали знакомые. В день его именин съезжались гости, для которых он играл на скрипке, было пение. Нередко отец уезжал на несколько дней. Бывал он в Киеве. Возвращаясь, привозил матери и всем нам подарки. Обычно он привозил из города также французскую булку и кусок швейцарского сыра. Дома у нас белого хлеба обычно не бывало. Наша мать сама пекла хлеб из ржаной муки. В качестве закваски в чисто выскобленной и выпаренной деже оставлялся кусок теста. С вечера из муки и тёплой воды делалась опара, потом мать месила тесто, добавляя сколько нужно соли. До утра, прикрытая чистым рушником стояла дежа на тёплой печи. Утром, когда русская печь была уже вытоплена и всястряпня закончена, из печи вынимали все чугуны, в которых грелась вода, горшки с борщом и кашей, и мать «сажала» на деревянной лопате хлебы в печь вместе с листьями капусты, подложенными под хлебы, чтобы они не пригорели и не запачкались снизу. По состоянию корки и по другим признакам мать наша знала, когда надо вынимать хлебы из печи. От вынутого ею из печи хлеба шёл сильный, особый, такой приятный запах, какого никогда и нигде я больше не ощущал. Только одна наша мать умела печь такой вкусный хлеб. Масло у нас сбивали из сметаны, а кислое молоко (простоквашу) подогревали и клали в решето. Сливавшуюся сквозь решето сыворотку использовали для замешивания хлеба, а оставшийся в решете творог шёл под пресс, т. е. завернутый в чистую полотняную тряпку клался под камни, и такой творог носил у нас название «сыр». А в редких случаях, когда отец приезжал из Киева, он привозил кусок швейцарского сыра, который довольно долго хранился, тщательно завернутый, на случай гостей. Изредка, при случае, привозились и стеариновые свечи (четверик в общей синей обёртке). Они тоже зажигались только при гостях. Обычно же в то время, т. е. до русско-турецкой войны 1877–1878 гг., у нас в домашнем обиходе были только сальные свечи. Их делала наша мать сама из «лоя», т. е. из топлёного бараньего жира.

Техника изготовления сальных свечей была очень несложной. Из белых ниток, из которых мать вязала чулки сёстрам, делался фитиль. Он натягивался между двумя желобами. При складывании желобов получалась труб-

ка, в которую и наливался растопленный «лой». Когда «лой» застывал, обе половинки формы снимались и вынималась готовая сальная свеча. Слабое освещение поддерживалось лампадками. Позднее, в 80-х годах, появились «каганцы» и керосиновые лампы.

Из поры этого отдалённого детства запечатлелся милый мне образ всегда опечаленной, готовой ронять украдкой горькие слёзы Одарки. Как живая встаёт она в моей памяти. Одарка служила у нас нянькой в 1874–1879 гг. Высокая, со смуглым бледным лицом и запавшими щеками, всегда в чёрном, она никогда не была весёлой. Я очень любил её за ласковое обращение и ещё за то, что она сказок нам не рассказывала, а когда мы бывали одни, говорила нам правду о своей тяжёлой жизни. Я не помню, чтобы она когда-нибудь смеялась или шутила. У неё был свой хлопчик, она берегла его и любила. С ним ушла из дома от своих родителей служить в «чужие люди». Её прогнали родные отец и мать за то, что она была «покрыткой». Я не понимал этого слова, но чувствовал всю его горечь, т. к. Одарка всегда плакала, называя себя этим словом. Её хлопчик умер, когда ему было всего четыре года, ещё до того, как она поступила к нам в няньки. Её рассказы всегда были жалостливые — о бездушном, жестоком отношении к её хлопчику чужих людей, которые принимали её на работу. Но наша мать и мы любили Одарку, и она не чувствовала себя в нашей семье чужим человеком. По временам она уходила в своё село Тополи. По-видимому, насколько я теперь понимаю, ей невмоготу была разлука с родными и с тем, кто был отцом её сына. Но проходили недели или месяцы, и Одарка возвращалась, иногда со следами побоев на лице и теле, и всегда готовая вновь и вновь втихомолку проливать горькие слёзы.

Наедине с нами, со мною и Серёжей, она отводила душу, рассказывая о беспросветной своей доле. Она была откровенна и с нашей матерью. Я помню, как мать уговаривала её забыть о мучившем и тиранившем её человеке, который женился на другой.

Почему-то с воспоминаниями об Одарке у меня связана память о казавшемся мне тогда почти уже стариком бывшем приказчике у прежних своих крепостных хозяев — Канарее. Это была либо его фамилия, либо прозвище. Рябой от оспы, с серьгой в одном ухе, он появлялся у нас, приезжая из Тополей¹, виделся с Одаркой. К нему у меня всегда было непреодолимо враждебное чувство. Угодливый с нами, он был груб с Одаркой. После него она всегда оставалась в слезах.

Из людей того же периода (1876–1885 гг.) упомяну о Константине Петровиче Барабаше, работавшем машинистом на винокуренном заводе

¹ Деревни и местечки Тополи (с ударением на последнем слоге), Борки, Берёзовая Рудка и ряд других входили в приход храма, находившегося в селе Алексеевщина. Все они принадлежали разным помещикам, и отец Захария Григорьевича в разные годы служил управляющим то у одного, то у другого. По сведениям киевского краеведа М. С. Шкурки, дольше всех Григорий Андреевич был управляющим в имениях графа И. П. Закревского. Сведения о датах рождения и крещения всех детей Френкелей, начиная с Сергея (1868) до Евгении (1880) содержатся в церковно-приходских книгах храма в Алексеевщине.

в Алексеевщине, а затем, когда отец перешел в Борки, на таком же заводе — в Борках. Это был человек исключительно трудолюбивый, всегда занятый слесарными и паяльными работами, починкой механизмов, сборкой новых, поступавших на завод приборов и аппаратов, разборкой, очисткой и ремонтом старых. Неразговорчивый, занятый наблюдением за работой аппаратов и их исправлением, он в то же время в часы своего отдыха и в праздники в уголке заводского помещения, заменявшем ему мастерскую, неизменно был занят починкой швейных машин, лужением металлической посуды, самоваров. В этом уголке стоял его рабочий стол — верстак с прочно вделанными в него тисками и ножницами для резания листов железа. Тут же был точильный круг, а рядом — небольшой горн с ручными мехами для раздувания огня в угле. Около стола стояли ящики со всякими инструментами, ключами, напильниками, паяльниками.

Так много работавший, Константин Петрович всё же не мог отказать сослуживцам по заводу, постоянно приносившим ему в починку предметы домашней утвари. Вопреки нравам мастеровых людей, Константин Петрович был совершенно непьющим. Он любил вводить придуманные им улучшения и изменения в конструкцию приборов и машин, и весь был поглощен затем проверкой усовершенствований в работе сконструированных механизмов. Мы с Серёжей часами не отрывались от места, где работал Константин Петрович. Правда, он не очень любил, чтобы мы мешали ему своими расспросами или трогали его инструменты, однако нам всё же удавалось помочь ему, то раздувая мехи, то отрезая нажимом на рычаг больших ножниц кусок жести, то заклёпывая молотком головки и загибы. Бывало и так, что Константин Петрович делал для нас мудрёные приборы для фокусов с металлическими кольцами и продевания сквозь них цепи из более широких колец. Иногда эти фокусы были настолько головоломными, что мы неделями и так, и сяк пытались их разгадать, а Константин Петрович проделывал их на наших глазах с лёгкостью.

Отец мой очень ценил Константина Петровича, как трезвого, державшегося всегда с достоинством, умелого и полезного сотрудника. Особенно незаменимы были услуги Константина Петровича при поломке во время неотложных сельскохозяйственных работ той или иной машины — сеялки или зерноочистителя, веялки или молотилки. Отец нередко приглашал Константина Петровича вечером к ужину, благодаря чему он стал хорошим знакомым в нашей семье.

Следует ещё, пожалуй, рассказать о Дебелом. Он приезжал к нам иногда на «беде» (двуколке), запряжённой дородной кобылой. Плотный, невысокий, с красными щеками, обрамлёнными начинавшей уже сесть бородою, он всегда был в чистой поддёвке, выходил из своей «беды» и с кнутом в руках ходил по двору и по всей усадьбе, разыскивая отца. Приезд его у нас всегда был связан с ожиданием какой-то неприятности. По-видимому, в те годы отец очень часто нуждался в деньгах. Чтобы достать их, продавали лошадь или тёлку, либо откормленного кабана, или двух-трёх полугодовалых или годовалых подсвинков, либо производились «запродажи» будущего урожая фруктового сада, овса, репса или табака. Поскольку деньги требовались неотложно, такие предварительные «запродажи» производились по

крайне невыгодным ценам, и потому к закупщику, каковым чаще всего и являлся в таких случаях Дебелый, оставалось чувство затаённой обиды за заведомо недобросовестные цены, а у нас, детей, чувства недоброжелательства и вражды. Дебелый же после сделки спокойно запрягал свою сытую кобылу, с полным равнодушием к упрёкам отца усаживался в свою «беду» и угонял с собою на привязи нашу любимую тёлку или «лошонка».

Бывало и гораздо хуже, когда продать было нечего, а деньги нужны. Дебелый давал их под вексель, но уплата в рассрочку писалась в векселе на сумму много большую, чем та, которую он давал. А потом точно в срок он приезжал за платежом, и уж тут никаких отсрочек, никаких уступок! Отец иногда раздражался, повышал голос, упрекал его в бессовестном ростовщичестве. Дебелый отвечал ровным, тихим, даже вкрадчивым голосом, но никогда ни скидок, ни уступок не делал, а говорил только, что завтра же предъявит вексель приставу ко взысканию. Он, конечно, знал, что отец этого не может допустить и отдаст ему ту или иную ценную вещь за бесценок в уплату долга.

Дебелый был богатеем, имел одного–двух постоянных батраков и, кроме того, использовал труд односельчан, которые отрабатывали полученные у него в долг небольшие суммы на самых невероятных, ростовщических условиях. Однажды он приехал получать какой-то платёж. Было это зимой. Он сидел у стола, а отец при свете горевшей свечи отсчитывал подлежащую уплате сумму. После пересчёта в руках у отца осталась «красненькая». Так называлась, если не ошибаюсь, десятирублёвая ассигнация. Дебелый своим вкрадчивым голосом сказал, что не худо было бы отдать ему и эту «красненькую» за то, что он всегда выручает отца. Я почувствовал, что отца эта просьба вывела из себя. Он поднёс ассигнацию к горевшей свече и, повысив голос, ответил:

— Скорее сожгу эту бумажку, а не дам её в подарок живодёру!

При виде загоревшейся ассигнации Дебелый вскочил, выхватил «красненькую» из руки отца, погасил её и спрятал в карман, всё тем же вкрадчивым голосом поблагодарив за «подарок».

В качестве образчика тихого «подсживателя», каким был Дебелый, рассказывали о его жалобе на священника его прихода — отца Семёна. У Дебелого было закончено строительство нового хорошего дома, о котором он самодовольно говорил:

— Хата моя рубленая, на помости.

Нужно было освятить дом. Дебелый позвал отца Семёна. Проходя через двор вместе с дьячком и Дебелым, батюшка указал на откормленного кабана:

— Ось, це мини за освящение нового дома.

Дебелый не возражал. По окончании обряда и окроплении дома отец Семён, любитель праздничной трапезы, остался с собравшимися гостями, преизрядно выпил, а когда собрался уезжать, увидел, что вместо «подсвинка» в его воз положен поросёнок. Он заспорил с Дебелым, требуя условленного «подсвинка». Дебелый не соглашался.

— Як не дасы цего пидсвинка, хату рассвячу! — сказал разгневанный батюшка. И действительно, надел вывернутую наизнанку рясу, взял крест дер-

жаком вверх, стал обходить дом с песнопением, в котором всюду ко всем призывам о благоволении прибавлял частицу «не». Дебелый не спорил с батюшкой и не останавливал его, а попросил двоих гостей быть «понятыми», т. е. свидетелями, а потом написал жалобу в духовную консисторию на бедного отца Семёна. При следствии жалоба подтвердилась, и отец Семён был на два года заточён в монастырь для «замаливания своего греха». А репутация Дебелого, как человека, с которым спорить опасно, ещё больше укрепилась.

Все мы, дети, испытывали большое огорчение, когда выращенных у нас дома телят или жеребят приходилось продавать. Незадолго до войны с турками у нашей буланой кобылы ранней весной появился на свет жеребёнок. Его часто приводили в кухню и подкармливали тёплым пойлом и молоком. Буланка, его мать, трогательно ухаживала за ним, тщательно его вылизывала. Жили мы тогда в небольшом доме. В сени вела довольно крутая лесенка. Из сеней — вход в большую кухню с русской печью направо и большим столом в глубине. За этим столом мы завтракали и обедали. Жеребёнок, названный Орликом, так привык к угощению на кухне, что научился легко подниматься по лестнице, входил в кухню и попрошайничал, когда мы садились за стол. Летом он вырос, стал изумительно стройным чёрно-вороным красавцем с белым пятном на лбу и белыми у копыт ногами. Его все ласкали, и он привык чувствовать себя всеобщим любимцем. По призывному ржанию Буланки Орлик грациозно убежал на луг. Гонялся галопом за нами. За зиму он замечательно вырос, но и на следующее лето сохранял все свои привычки балованного жеребёнка, хотя выглядел выхолоненным жеребцом. С прежней игривостью он входил по лестнице в сени, согнув свою красивую шею, проходил через дверь в кухню, вставлял свою большую голову с умными, ласковыми глазами между нами, прижимал уши и ждал угощения. Ещё более грациозным и своенравным стал он, когда ему стало уже два года. Он привлекал к себе общее внимание не только своим ростом, красотой, быстротой бега по кругу, но и умением, невзирая на свой большой рост, взбираться в кухню, а также своей понятливостью и привязанностью к нам. Его очень берегли, ни разу не брали в упряжку. Понятно наше горе и слёзы, когда Орлик был продан на ярмарке как породистый жеребец. Отец, как и мы, любил Орлика, но очередная нужда в деньгах для взноса арендной платы решила участь нашего любимца.

Постоянно за общим столом отец обсуждал вопросы политики, во все суждения он вносил требование разумной обоснованности и нравственной оценки. Позднее, три-четыре года спустя, у отца произошли какие-то глубокие перемены. Он стал более замкнутым, сосредоточенным. Иногда неделями бывал не разговорчив. Начал рано сесть, перестал ходить на охоту, решительно забросил скрипку и ни на какие просьбы матери и наши не поддавался. Скрипка и дуэтовка, и рисунки собственного письма совсем исчезли из его комнаты. Постоянным до конца жизни его увлечением были газеты, текущие вопросы политической и общественной жизни. При их обсуждении он не мог переносить возражений. Такие же страстные черты глубокого и постоянного интереса носило и его отношение к вопросам земледелия и сельского хозяйства. Он постоянно выписывал «Земле-

дельческую газету» и журнал «Сельский хозяин». Покупал или выписывал новые книги по сельскому хозяйству, тщательно их перечитывал, делал на полях заметки, закладки. Все советы и новинки настойчиво применял на опыте и проверял их своим наблюдением. Я относился к отцу с большим уважением, хотя и вызывал часто в раннем детстве его гнев, а иногда даже длительное недовольство мною за разные выпады против него по поводу несоответствия его поступков в моменты вспыльчивости с высказываемым и признаваемым им общественным правовым началом полного равноправия и равенства людей. Я и сейчас помню мучительное чувство, которое охватывало меня, когда я видел, что отец переживает какие-то внутренние огорчения и страдания, когда он сосредоточенно сидел один.

В комнате у отца стоял шкаф с книгами. Это были хорошо переплетённые книжки журналов «Современник», «Отечественные записки», переводные издания произведений Виктора Гюго, Шиллера. Очень много книг по естествознанию и по прикладным техническим наукам. Научившись рано читать, я, когда никого не было дома, на многие часы погружался в чтение журналов; читал статью за статьёй, часто не проникая в их содержание и подлинный смысл. Мне казалось, что ни в одной из повестей, которые я прочитывал, не было изображено человека с таким значительным содержанием и с таким сложным и глубоким характером, как мой отец. И я твёрдо решил и задумал написать повесть, в которой в главном лице представить отца. Потом этот замысел был забыт.

Мой отец, которого даже тогда, когда я с ним спорил и ссорился, я не переставал глубоко любить и уважать, — Григорий Андреевич Френкель, родился в 1828 г. Был он человеком большого внутреннего содержания, упорной и постоянной работы по самообразованию, всегдашних запросов к себе и бескорыстия. Он отличался сильно развитым чувством собственного достоинства и самоуважения. Но был вспыльчив и тогда совершенно терял самообладание. Умер мой отец в начале Первой мировой войны, в ноябре 1914 г., 86-ти лет от роду. Умер в результате гангрены стопы.

Моя мать — Елизавета Андреевна Френкель, урождённая Бах¹, (из Борисполя Полтавской губернии) была женщиной удивительно мягкой, любвеобильной души, беспредельно трудолюбивая и выносливая. Умерла она в августе 1910 г., 76-ти лет от роду, от воспаления среднего уха (осложнение после гриппа).

В 1876 г. отец стал управляющим в имении Борки Остёрского уезда. Помню, с каким страданием и гневом я видел возмутительное попираание зависимых людей, когда «объездчики» пригоняли крестьянский скот или коней, зашедших на луг или поле экономии. Крики и побои со стороны приказчиков в конторе, вымогания штрафов за потраву, униженные мольбы отпустить коня, отношение к крестьянам как к низшим людям, как к скоту, презрение к ним в разговорах о «мужике». Я видел непоследи-

¹ Родилась Елизавета Андреевна в 1834. Она была двоюродной сестрой Алексея Николаевича Баха (1857–1946) — известного революционера-народовольца, автора нашумевшей книги «Царь Голод», а впоследствии выдающегося учёного, академика, одного из основоположников отечественной биохимии.

тельность иных «передовых» людей, когда они обращались к «мужику», и тогда я сам горел пламенной ненавистью к панам за их чванство, за их звериную мораль. Когда я оставался один в саду или совсем один дома, я раздражался неудержимыми обвинениями, грозными обличениями всех лицемеров, хищников, себялюбивых людей из моего окружения. Несколько раз случалось так, что мои обличительные речи были подслушаны. Мне за это дали презрительную кличку «прокурор» и «философ». Тогда я ещё ничего не слышал о Цицероне и его обвинительных речах против Катилины. Я не могу вспомнить, откуда у меня зародилась эта державшаяся несколько лет привычка к обвинительным речам. Но во мне самом эти мои обвинения порождали невольное желание быть свободным от всех преступных, гнусных нравов, которые я обличал. И в противоположность взрослым, я сблизился с теми, кого оскорбляли и унижали. Я привязался к Дмитру Ремезу, старику-сторожу, бывшему крепостному. Он целые вечера и ночи, когда я пробирался к нему в караулку, рассказывал мне о крепостном праве, о побоях от панов, про «панщину», о диких расправах с дворовыми. Всё это не было ещё безвозвратно ушедшим в прошлое, а оставалось неизжитым по моим непосредственным впечатлениям. Очень часто я вмешивался в разговор старших и настойчиво, даже назойливо, призывал их во имя правды и справедливости стоять на стороне тех, кого притесняли, на кого кричали, кого заставляли работать, в то время как приказчик или ключник, надзиравший и покрикивавший на половших, пасынковавших, окучивавших посадки или ворошивших, сгребавших сено, сам полёживал где-либо в тени, в «холодку». Я укорял, стыдил, а меня за это клеймили презрительной кличкой «проповедник».

Особенно врезались мне в память повторявшиеся каждый год съезды мужиков, целыми днями ожидавших в сенях у конторы, когда им отведут участки земли в «испольщину»¹ на предстоящий год. Я незаметно проskalьзывал в контору и видел, как низко кланялись, поднося «паляницы» и колбасу конторщику, упрашивали записать за просителем определённый участок. Земля похуже сдавалась с половины, а чуть получше — «раз третья, раз половина», т. е. с одной половины спольщику — одна треть урожая, а с другой — половина. Многие просили, со слезами молили, но им отказывали. И я с горьким затаённым чувством обиды и бессильной злобы переживал неудачи этих, так много работавших людей, как и они сами. Молча, бывало, в слезах возвращался домой, не хотел идти к столу; одним словом, был «упрямым волчонком» или «барсуком», как меня тогда называли.

Мне было уже семь лет, Бывало, когда ко мне обращались с лаской, я рассказывал обо всех несправедливостях и надругательствах над мужиками и рабочими, которые я видел в экономии. Этого взрослые не понимали. А когда я не подчинялся требованию вылезти из уголка и сесть за стол на своё место и меня пробовали притащить силой, я упирался, ложился на пол, долго и громко плакал. Это запечатлелось в моей памяти тяжёлым и неприятным воспоминанием.

¹ Одна из разновидностей аренды земли, при которой арендная плата составляет половину урожая.

И сейчас, через 75 лет, помню я всю остроту обиды, безысходность и бессилие преодолеть обиду. Один раз, это я точно помню, когда мне не было ещё и шести лет, я дал себе слово, что никогда не забуду во всю последующую жизнь те мысли и чувства, которых взрослые не понимают, думая, что малые дети — только материал для воспитания и воздействия, хотя на самом деле они гораздо глубже и справедливее взрослых. Я вышел в сад, взобрался на «погребню» и, стоя на ней, давал себе клятву, что сам никогда не буду таким тупым взрослым и до конца жизни не забуду этой клятвы.

К этому же возрасту — пяти-семи годам — относится моё увлечение решением трудных арифметических задач. Я ещё не был крепок в письме, и все задачи решал в уме. Старший брат Яков готовился тогда к поступлению в горное училище. Задачи, которые ему не удавалось решить алгебраически, я решал в уме. Его раздражало и злило, что мои решения совпадали с ответом.

С периодом жизни в Борках (до русско-турецкой войны) связано у меня воспоминание о заболевании дифтеритом. Это было в конце зимы 1875-го или в 1876 г. Большую боль причиняли смазывания глотки и удаление оттуда налётов и плёнок. Мать повезла меня в Козелец к доктору Гольдвуху. Чтобы я не замёрз в пути, на ноги мне надели (удивительно ясно помню эту подробность) бурки с оторочкой из барсучьего меха, а мать закутала меня в отцовскую меховую шубу. Долго ещё после выздоровления я страдал нарушением зрения. Всё двоилось в глазах, я не разбирал букв и не понимал, не видел картинок. Это вызывало очень обидные насмешки братьев. Старшая сестра Вера готовилась тогда к работе в земстве на эпидемии дифтерита. Она выходила меня.

Из того же периода хорошо помню, как в жаркие летние ночи я и Серёжа приходили спать вместе с отцом на холодильный помост. Плотно сбитый из чистых тёсаных досок открытый помост с невысокими бортами был устроен на уровне верхнего этажа на высоких столбах. Во время работы завода он служил для выпуска и охлаждения браги из перегонных чанов. Каждый раз после сгона браги помост (холодники) тщательно очищался и вымывался. Летом это было прекрасное место для сна под открытым небом на набитых сеном мешках, застланных чистыми ряднами. Накрывались мы так же ряднами.

Мы просыпались вместе с отцом на рассвете, при восходе солнца. На наших глазах оно выкатывалось на горизонте «як млыновее коло» и, пока мы умывались и одевались, успевало уже значительно подняться над горизонтом, но не пекло, а ласково согревало своими яркими лучами. В память запали слова отца, смотревшего на восход солнца:

— Ну вот, солнце только что появилось, родился новый день. К полудню оно поднимется до наибольшей дневной высоты, а к вечеру спустится и зайдёт за горизонтом, и день закончится. Как один день проходит и человеческая жизнь. Вы ещё на рассвете жизни, а время уходит незаметно, и день жизни идёт к закату. Когда будете такими, уже пожившими, как я теперь, вспомните, каким было для вас это раннее, светлое, тёплое утро, когда я ещё с вами смотрел восход солнца, и у вас вся жизнь ещё была впереди.

Я и сейчас, восемьдесят лет спустя, вспоминаю то радостное для нас утро и эти полные грустного раздумья слова отца.

Отец всегда придавал большое значение укреплению здоровья. В детстве мы умывались ранним утром голышом и в таком виде бегали в саду под тёплым летним грозовым ливнем или дождём.

Где бы ни проходили годы нашего детства в зависимости от перемены места службы отца — в Борках или Алексеевщине, или в другой местности, мы везде с братом Сергеем посещали местную сельскую кузницу. Постепенно у нас завязывалось знакомство и даже дружба с «ковалём» и его помощниками. По сельским трактам изо дня в день тянулись вереницы возов, на которых везли «лесты» — жерди — для изгородей или лесные материалы для строительства в степной полосе. Везли соль и «тарань» — вяленую воблу — из Приазовья, проезжали в тарантасах заезжие люди. Часто и из наших сёл уезжали куда-либо на ярмарку. И всегда в таких случаях нужно было подковать или перековать лошадей в зависимости от характера предстоящей дороги. Коней, работавших в поле, обычно не подковывали, но в дальних поездках копыта могли разбиться, а конь — захромать. Правильная подковка лошадей — главная причина, почему «кузня» была необходимой принадлежностью сельской местности. Обычно она находилась за селом, поближе к реке, но в то же время недалеко от проезжей дороги. Подле кузни было несколько станков и столбов для привязывания лошадей при подковывании. Подковы подгонялись в кузне по размерам копыта, в кузне была одна или несколько наковален, но, самое главное, был горн, в котором разогревалось докрасна или добела, смотря по надобности, железо. Для этого горение берёзовых углей, запас которых в рогожных мешках всегда имелся в кузне, в горне усиливалось «поддуванием» из мехов. Раскалённые куски железа, захваченные клешнями, поддерживались ковалём на наковальне и под ударами молота принимали желаемую форму.

Зайти в кузницу, смотреть, как брызжут и разлетаются искры и осколки от ударов молота, как разгорается огонь в горне от работы кузнечного меха, постепенно незаметно подойти поближе, не бояться разлетающихся искр, вовремя подать щипцы или зубило или подхватить перекинутую через блок цепочку от мехов и начать раздувать огонь в горне... Особенно интересно было, когда в кузницу приносили для сварки разломавшийся сошник или слишком короткий лом для наращивания. Оба конца накалялись добела, осторожно накладывались на наковальню и сильными ударами молота сплющивались и въедались друг в друга, превращаясь в один. Сначала нас, обычно, пугали и выгоняли из кузни. Мы научились не привлекать к себе внимания и к нам привыкали, а бывало, к нашей радости, и так, что долгое время неприветливый коваль давал молоток:

— Ну-ка, бей в такт! — и нужно было мерно попадать, не пропуская своей очереди. Чаще такая честь оказывалась Серёже. Я всегда отставал от него в ловкости и силе и мирился со своей участью физически менее умелого. Зато я брал настойчивостью и всё более обострившимся желанием сделать что-то не хуже брата.

Но не только работа в кузнице с её волшебными картинками яркого жара в горне и разлетающихся искр от ударов по раскалённому железу, с внезапным шипением и свистом в бочке с водой, куда опускалась сталь для закаливания, влекла нас к себе, вызывала затаённое желание учиться так же

сильно и искусно бить молотом, сваривать железо, плавить олово и свинец для запаивания леек и вёдер, как это делал мальчик, помогавший ковалю, или даже сам коваль. Не менее заманчивой казалась нам и работа «стельмаха», который подле кузницы чинил сломанные повозки, делал топором из толстой доски новую ось для телеги, вставлял новые спицы, долотом и стамеской проделывал дыры во втулках, и через час-другой его работы вместо поломанного воза у кузни стояла крепкая исправная телега, на ободья колёс которой коваль натягивал выкованные в кузне шины. Дид-стельмах был не такой крепкий и сердитый, как коваль, а тихий и добрый, охотно дававший пилу или даже долото и топор, чтобы отколотить часть щепки, не досаждавший нас вопросами, — для чего, мол, вам тут пачкаться сажей и дёгтем, вам учиться надо грамоте, а не нашей работе, — как обычно слышали мы в кузне. Дид-стельмах вместе с нами радовался, когда правильно работала в моих или Серёжиных руках ножовка или рубанок, когда хорошо и точно удавалось сделать его острым топором зарубку на доске.

Так же увлекало нас желание научиться хорошо работать серпом, когда начиналась «жнив» и везде в поле жали рожь, или научиться класть правильно покос, когда мы видели работу косарей.

У нас никогда не возникал вопрос, зачем нам было нужно научиться выполнять работу умело, как делают другие. Этого хотелось так же, как хочется не хуже других скользить зимою по льду на коньках или «запулить» не хуже другого мяч при игре в «гилки». Но при этом было ещё, может, не вполне ясное сознание, что при умении жать или косить, плотничать или работать в кузне можно помочь работать другим, надрывающимся от чрезмерного и непосильного труда, можно принести пользу, которой не видишь в игре или спорте.

Когда сейчас, в конце моего длинного жизненного пути, я останавливаюсь на самом отдалённом, но ещё свежем в сознании прошлом, я сам удивляюсь, как много ярких, не тускнеющих и не стирающихся воспоминаний связано у меня с периодами войн, которые переживала на протяжении моей жизни наша страна.

В наиболее раннюю пору детства сильное впечатление производили рассказы о свежих ещё тогда событиях, связанных с героической обороной Севастополя, о потрясениях и бедствиях, бурных волнах народных и общественных движений, зародившихся вслед за Крымской кампанией, приведших к падению крепостного права. Всё это жило и волновало в рассказах окружающих, в рассказах, полных благородного негодования в адрес реакционных душителей жизни николаевского времени. Всё услышанное тогда в горячих и постоянных спорах отложилось в глубине моей памяти, точно речь шла не о событиях, происходивших за 10–15 лет до моего появления на свет, а точно я сам жил в то время. Но всё же несравнимо ярче встаёт передо мною период русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Мне уже было тогда восемь–девять лет. Сознание и интерес к общественной жизни пробуждены были у меня очень рано. И когда началась Балканская война, вся острота внимания к событиям, отзвуки которых находили отражение в «Сыне Отечества», в «Голосе», а их я уже тогда привык ежедневно просматривать, составляла содержание моей внутренней жизни.

Мы жили тогда в Борках, в семи верстах (11 км) от Козельца. Отец был там управляющим имением. Каждый день с каким-либо поручением посылали в город рабочего, и я всякий раз старался присоединиться к посланцу. В Козельце — как сейчас помню — почти у самого собора находилась почтовая контора. Преодолевая свою чрезмерно выраженную и всегда мучившую меня робость, я забегал на почту, чтобы взять газеты, которые выписывал мой отец. На возвратном пути я успевал прочесть все военные новости о движении наших войск, о переходе через Балканы, об ужасах Плевны. Я делился своими волнениями с кучером Лукой, а дома, раньше, чем кто-либо успевал прочесть газеты, я уже рассказывал обо всех военных событиях. Как давно это было! Но в моей памяти эти поездки мимо густого Борковского сада по глубоким пескам на дороге через сосновый бор «Закревщину» к берегу реки Остёр, подъезд к Слободке, к мосту и, наконец, — собор и почтовая контора — стоят и оживают, точно вижу всё это вновь, всё стоит перед моими глазами.

С совершенной несомненностью помню, с каким торжеством прочёл я, возвращаясь с почтой, что «Шестаков и Дубасов потопили турецкий монитор»! Мне не терпелось, и когда мы доехали до дороги, огибавшей сад, я соскочил с телеги и через сад прибежал, чтобы возвестить дома об этом нашем успехе на море. Газетное барабанное бахвальство и буйно разросшийся во время войны шовинизм, по-видимому, не могли не повлиять на мои настроения.

Отчётливо сохранились в памяти и другие волнения и горести, относившиеся к периоду 1877–1878 гг. Особенно плакала и горевала старшая сестра по поводу тяжёлой болезни и смерти Н. А. Некрасова. Она прочитывала вслух и перечитывала много раз со слезами последние стихотворения поэта, напечатанные в «Отечественных записках»: «Двести уж дней, двести ночей муки мои продолжаются», «Скоро стану добычею тлена», «О, муза, я у двери гроба» и другие. Об отношении к поэзии Некрасова в нашей семье говорит то, что я уже знал тогда наизусть постоянно декламировавшиеся у нас его стихи и поэмы: «У парадного подъезда», «Железная дорога», «Отпусти меня, родная». Но я говорил наизусть и ряд резко обличительных произведений Некрасова, таких, как «Окружают тебя добродетели, до которых другим далеко» или «Колыбельная песня».

Помню, как больно и горько отзывались на всех окружающих неудачи под Плевной, какое негодование вызывали передававшиеся из уст в уста слухи о попытках неподготовленными штурмами взять её по приказу командовавшего армией брата царя, Николая Николаевича Старшего, ко дню именин Александра II. Штурмы эти стоили жизни десяткам тысяч солдат. До сих пор в моей памяти встают бичующие популярные тогда слова революционного стихотворения о взятии Плевны:

Именинный пирог из начинок людских
Брат подносит державному брату,
А на родине ветер холодный шумит
Да разносит солдатскую хату.

Помню восторги, находившие отклик и в моих настроениях восьмилетнего непокорного резонёра, дикого «буки», от подвигов моряков Дубасо-

ва и Шестакова, от восхваления доблестных, стремительных продвижений Гурко, а затем Скобелева.

Живые воспоминания остались у меня о турецких военнопленных, которые в очень значительном количестве были размещены к концу войны в Козельце. В это время отец из Борок перешёл на работу в Алексеевщину, куда, сколько помню, приглашён был Бодровым, который сам не жил в своём небольшом имении, но хотел его получше устроить. Рядом с хутором Разумы, в двух-трёх верстах от Козельца, была запущенная липовая роща. Подле неё и устраивалось новое хозяйство. По плану отца прокладывалась дорога, её обсаживали тополями. Копали пруд, шла разбивка сада. Отводились земли под плантации. Целые десятины засаживались виноградными черенками «чубуками». К работе привлекались военнопленные. Воинский начальник по заявке присылал под охраной сто и более пленных. Охрана обычно состояла из двух часовых из новобранцев.

Нам, детям, сначала в диковинку было смотреть на турок в красных фесках и в особой, непривычной для нашего глаза, обуви. Мы их боялись, с большой опаской относились к «башибузукам». Но скоро я и брат Серёжа познакомились с пленными. Русские часовые относились к нам очень ласково. Мы стали отличать среди пленных благодушных и добрых «османов» (из Константинопольского вилайета). Они весьма отрицательно относились к войне, с нетерпением ждали, когда будет заключён мир. По преимуществу это были мобилизованные во время войны не очень молодые крестьяне, у которых дома остались семьи, дети. Они постоянно говорили о своей тоске по дому. Мы старались обучать их русскому языку. По их просьбе читали им газетные новости и в особенности о всяких слухах о ходе переговоров о мире. Они же научили нас многим турецким словам, объясняли свои обычаи, рассказывали об особенностях своего быта. Многие из них были крупного роста, силачи. Один из пленных, играя, брал часового и выкидывал его на копну сена. Когда началась уборка луга и полей, турки оказались умелыми косцами. Придя на работу, они утром и вечером совершали свои молитвенные обряды, омовения. Утром и за обедом обильно сопровождали еду хлеба и приварка большим количеством зелени, петрушки и сельдерея, обмакивая их в соль. Некоторые из «османов» с особой симпатией относились к детям. У меня завязалась дружба с одним из них, которого я в шутку называл «осман-паша». Он с удовольствием во второй год, когда уже довольно хорошо научился говорить по-русски и поджидал скорой отправки домой, рассказывал о своих детях, о хозяйстве и жизни на родине. А так как я очень часто приносил ему угощение из дома, он обещал мне прислать, когда вернётся из плена, какой-нибудь турецкий подарок. И он выполнил своё обещание. Спустя два года после войны он по почте прислал с трогательной запиской верхнюю летнюю рубашку с нашитыми в виде украшения густыми рядами перламутровых пуговиц.

Отношение местных селян-украинцев к работавшим вместе с ними пленным было вполне дружелюбным. Пленных жалели, часто высказывая при этом, что и нашим, находящимся в плену на чужбине, будет легче, если их пожалеют. Уже тогда от наблюдений на деле отзвуков войны в глубине села у меня как-то само собою складывалось такое чувство, что воюют

между собой не массы простых людей, а те, кто их гонит на войну — высшие власти, их правительства. А уж раз война идёт, то призванные солдаты проявляют геройство и выносят все страдания, тяготы, ранения и смерть.

Помню, сколько было слёз, сколько горя проявляла вся семья очень близкого мне Петра Кадюка, всегда дававшего мне налаженную косу, чтобы я мог научиться косить, — когда после неудачной «первой Плевны» была мобилизация ополченцев. Исключительный добряк и семьянин Петро, взятый в ополчение, был в маршевой роте направлен в Архангелогородский полк, участвовавший в штурмах Плевны. Я навещал семью Петра, видел все тревоги и оплакивания Петра, о котором долгие месяцы не было вестей.

Точно это сейчас происходит, вспоминаю я приготовления в липовом большом старом парке Алексеевщины, выходящем на дорогу из Тополей в Козелец, к встрече Архангелогородского полка, возвращавшегося с войны в свои козелецкие казармы. Вдоль дороги устанавливались столы с угощением. Между липами натягивались полотнища с приветствиями, ставились скамьи, делались навесы. Мы с братом Сергеем непрерывно бежали, чтобы смотреть за этими приготовлениями. Из города, из соседних сёл, из Слободки собрались толпы народа. Вот издали донеслись слабые звуки военного оркестра. Затем показались на лошадях командиры. Их встретили хлебом-солью и просили дать роздых полку в липовом парке и разрешить угостить солдат. Был жаркий летний день. В полной походной форме, среди густых облаков пыли и сами с головы до ног покрытые пылью, шли солдаты. Батальон за батальоном, рота за ротой, с ружьями на плечах; фельдфебели с шашками и офицеры на лошадях отводили роты на подготовленные для них места. Гремел оркестр, неслись отовсюду крики «ура!». Встречающие несли угощение — связки баранок, бубликов, пампушки, молоко. Солдаты ставили ружья в козлы...

Сколько интереса и удовольствия было нам пощупать и приклады, и штыки! Наконец, после рот пошёл обоз, подъехали кухни. Неизъяснимою радостью была встреча с Петром Кадюком. Он оброс бородой, на погонах красовались нашивки. Он был цел и невредим, надеялся на скорое увольнение со службы. Но вот заиграли горнисты, и под барабанный бой солдаты привели себя в походный вид — со свёрнутыми шинелями через плечо и с ранцами за спиной. Быстро разобрали ружья. Заиграл оркестр, и полк потянулся к дороге и гребле (насыпи, плотине), ведущей к Козельцу. Скоро в Алексеевщинском «липняке» всё опустело, и только кое-где сбежавшиеся неизвестно откуда собаки подбирали объедки.

Два года в народной городской школе в Козельце

В связной и отчётливой последовательности у меня в памяти не сохранился ход событий от момента окончания войны до поступления осенью 1879 г. вместе с братом Сергеем в Козелецкое городское училище в третью группу, соответствующую третьему году обучения. Упомяну лишь об одном вос-

поминании — о приезде однажды весной вечером с тяжёлым чемоданом «дяди Абраши». Позднее, через несколько лет после удачного побега, он в заграничных революционных кружках был известен под именем Алексея Николаевича Баха¹, как автор известной брошюры о начатках политической экономии и как учёный, специалист по химии азотных соединений. В тот же свой приезд он был длинноволосым студентом Киевского университета с жиденькими баками, почему-то врезавшимися мне в память. Очевидно, отец был убеждён, что мы уже спим, когда он вёл с Абрашей разговор о привезённом им чемодане. Но я слышал их разговор и совершенно правильно отдавал себе отчёт о его сущности и содержании. В чемодане была спешно увезённая из Киева подпольная типография, которую надлежало незаметно «захоронить». Ничего удивительного нет в том, что, проснувшись на рассвете, я вышел, направляясь в липняк, и в стороне от дороги увидел, как отец и приехавший студент старательно закрывали дёрном засыпанную землёй яму, в которой, очевидно, и была схоронена типография.

Много лет спустя я повидался с бывшим двадцатилетним студентом Бахом, всегда представлявшимся мне типичным студентом 70-х годов. Но в 1923 г. Алексей Николаевич выглядел стариком, ему было уже 66 лет, а мне — 54. При советской власти он вернулся из Швейцарии и руководил созданным им научно-исследовательским физико-химическим институтом.

Два или три года, связанные с учёбой в Козелецком городском училище, всегда были и остаются лучшим, самым заманчивым периодом жизни, периодом полного и цельного упоения самим процессом роста сознания, обогащения знаниями и полного отсутствия разъедающего, угнетающего и принижающего неверия в свои силы. Это была пора полной свободы от мучительных мыслей о неправильном, непроизводительном применении сил и способностей, пора отсутствия ощущения пустоты, бесцельности жизни.

Как-то сразу и без шероховатостей мы вошли в жизнь класса. Со всеми учениками завязалась самая тёплая дружба. Две-три версты от Алексеевщины до училища мы с братом проходили пешком. Учились мы оба в одной группе, хотя Сергей и был старше меня почти на два года. Мы чувствовали себя тесно спаянными единством. По дороге через Слободку к нам присоединялись другие ученики из нашей группы. Идя через греблю, на которой всякий раз работали две из семи стоявших там мельниц, мы подолгу глядели, как низвергается и потом бежит по широкому лотку вода и ударяет в лопатки колеса, вращая его, а затем с плеском и шумом низвергается в реку быстронесущимся пенистым потоком. Мы забегали внутрь мельницы и, не отрывая глаз, следили, как мощный дубовый вал, на котором было укреплено водяное колесо, передавал своё движение зубчатой передачей вертикальной оси, конец которой вделан в окованный железом мощный жернов, раздавливающий и растирающий в муку поступающие под него зёрна. Смотришь на одну сторону плотины — там до самой Алексеевщины на целые вёрсты тянется поросшая ситником, а вдали сплошь заросшая густым очеретом запруда, гребля. Весной она под постоянной угрозой про-

¹ Об А. Н. Бахе и влиянии его на старшего брата Захария Григорьевича — Якова см.: Приложение № 1.

рыва весенними водами. В разных местах по гребле и по дальним берегам запруды, склоняясь над тихо застывшей в полном покое водой, стоят дуплистые вербы и осокори. Над запрудой проносились дикие утки, гудел водяной «бугай» — выпь. А по другую сторону плотины — сочный зелёный луг или заросшее осокой ровное болото. Чуть возвышается оно над водой прорезывающего его стремительного, бурлящего потока, вырывающегося из-под шумно ревущих мельничных колёс. По берегам запруды были заросли ивняка и лозы. Там мы находили иногда свисающие над водою гнёзда ремеза. Изумление и восхищение вызывало строительное мастерство этих птичек, так искусно и тонко сделаны их гнёзда. Неисчерпаемо разнообразна была чудесная по красоте и причудливости форм прибрежная растительность — стрелочники и трёхлистники, а на воде белые и жёлтые кувшинки, султаны рогазы. По пению, пisku и другим звукам мы умели различать и очеретянку, и дергача, и разные виды куличков и синиц.

А осенью, когда на «ставу», в конце ноября и в декабре, вода между ситником и над глубокими вырами покрывалась толстым, прочным и как стекло чистым и прозрачным льдом, мы, сокращая путь в школу, шли прямо по льду. Сколько удовольствия было высмотреть стоящую подо льдом, где-нибудь между ситниками уснувшую щуку, большую, как полено. Мы замечали это место и после школы находили его, опять высматривали щуку и оглушали её сильным ударом обуха по льду. Надо было успеть затем прорубить лёд, чтобы захватить щуку раньше, чем она оправится от контузии.

В школе всё мог разъяснить учитель — Никифор Иванович Лукьянович. Ровный, внимательный, серьёзный и даже несколько суровый на вид, он выслушивал наши вопросы и сообщал много замечательно интересного, как бы давая попутно объяснение по поводу обращённого к нему вопроса.

Ранней весной, когда не везде ещё растаял снег, Никифор Иванович давал задание отыскать первые весенние цветы, выкопать их с корнем и принести в школу для общего ознакомления с ними в классе. Подобрал трёх-четырёх товарищей, мы с Серёжей после занятий выискивали в липняке первые цветы: жёлтые звёздочки с луковицами в земле — гусиный лук, «сон» (*Anemone pulsatilla*). Позднее приносили мы ветреницы и курослеп, поручейники (*Geum rivale*) и др. Всё это Никифор Иванович раздавал в классе, заставлял срисовывать в целом виде, а потом отдельно корни, корневище, луковицу, стебель, листья, цветок, околоцветник, чашечку, лепестки, венчик, тычинки, пестик. Потом всё это в его объяснении оживало в одно целое растение. Каждое из них было очень похоже на другие растения того же вида, но с большим постоянством отличалось от растений других видов.

Как бы сами собой появлялись у нас вопросы: как, почему произошли различия, как эти различия закрепились, как распространяются растения? Кое-что Никифор Иванович объяснял, но чаще отвечал своими вопросами и заданиями. Многое из того, что мы узнавали на уроках, казалось нам потом само собою понятным, давно известным. Эта атмосфера не пассивного восприятия, когда знания как галушки падают в раскрытый рот, а деятельного трудового поиска истины постоянно поддерживала какое-то бодрое, я бы сказал, воодушевлённое настроение на уроках. Всякое знание

нужно было черпать из наблюдений, повторных и подробных, и из сравнения различных наблюдений между собою. Можно было бы многие страницы заполнить рассказами о ходе уроков и о том, как расширялся кругозор учеников. В то же время росла любознательность, умственная инициатива и содружество в товарищеской работе.

«Теплота есть движение мельчайших частиц — молекул. При трении часть энергии, затрачиваемой на приведение в движение трущихся досок, переходит в тепло. Если тереть одну доску о другую, можно нагревание поднять до высоты, при которой дерево загорается». — Это было попутно сказано на уроке. И целая группа учеников остаётся после уроков. Во дворе школы отыскивали сухие доски. Одну из них закрепили, а другую производим движения, как пилой. Ученики попарно сменяются. Сколько веселья, когда, наконец, появились сначала тонкие струйки дыма, а потом пошёл густой дым!

В первую зиму нашей учёбы в Козелецком училище отец служил в Алексеевщине, и вся семья жила там. Когда бывали сильные морозы и идти пешком в школу было трудно, нас с братом отвозили на санях по более короткой дороге через поросшее очерётом болото, примыкавшее к запруде реки Остра выше гребли. Морозы в ту зиму были лютые. Заботливая наша «маты» старалась закутать нас как можно теплее. Поверх нашей одежды одевалась отцовская шуба либо тулуп, который туго завязывался поясом, так что трудно было повернуться. На дровнях впереди садился возница, а мы не садились, а ложились в сани, да ещё нас прикрывали одеялом. Ухабы от снежных заносов на дороге были глубокие, и однажды при переезде через такой ухаб я был выброшен из саней. Хлопец-возница этого не заметил. Немало труда стоило мне развязать пояс на шубе, освободиться от закутывавшего лицо и рот башлыка, чтобы начать кричать и попытаться броситься вдогонку. К счастью, брат заметил моё отсутствие и через несколько минут сани удалось повернуть и меня подобрали.

Когда в 1879 г. прекратилась служба отца в Алексеевщине, он взял в аренду небольшое хозяйство в лесничестве в Мостищах. И туда в 1880 г. переехала вся наша семья. Там среди вековых дубов на опушке леса стоял дом с соломенной крышей и подле него сарай и клуня. От Козельца до Мостищ было довольно далеко, вёрст семнадцать, и чтобы обеспечить для нас возможность продолжать учёбу в Козелецком училище, для нас с осени сняли в Козельце комнату, в которой с нами поселилась наша старшая сестра.

Старшая сестра Вера родилась в 1858 г. Основными чертами характера она походила на отца. Настойчивая, твёрдой и сильной воли, инициативная и исключительно трудолюбивая. Упорство в труде и способность отдаваться работе со страстью; любовь к разбивке, копанию, возделыванию грядок, клумб, к посадке кустов. От глубины души, от всего существа идущее презрение, отвращение к мешанству, к пошлости, к своекорыстию и мелочным условностям. Всю жизнь оставалась она непреклонной ригористкой с девственной чистотой. Недовольство убожеством окружающей жизни всегда горело в ней; ей присущи были порывы к чему-то большому, высшему. Действенность и самостоятельность были главными её чертами.

В описываемый период Вере было уже 20 лет. На весь учебный год она заменила нам мать: заботилась о нашем питании, о содержании и отопле-

нии комнаты. Она очень сблизилась с хозяйкой дома и двумя её дочерьми, а также с одним учителем нашего училища — Петром Николаевичем Мизько, снимавшим у той же хозяйки одну комнату. Очень часто по вечерам Вера ходила с нами на прогулки далеко за город или в парк Покорщину. В свободные часы читала нам книги, которые её в то время занимали. Отчётливо сохранилось в памяти, как однажды рассказал я Никифору Ивановичу об очень заинтересовавшей меня книге, прочитанной нам сестрой. В ней говорилось о возникновении первобытной культуры, об орудиях каменного века, об открытии способа добывания огня путём трения, о приручении животных и о переходе от охотничьего к пастушескому, кочевому образу жизни... Не помню точно, что это была за книга, кажется перевод работы Дрепера, но хорошо помню, что она была полна рисунков орудий каменного века и других эпох, рисунков костей животных и описанием быта сохранившихся в Австралии первобытных племён. Никифор Иванович посоветовал перечитать книгу, главу за главой, и отчасти на его уроках, отчасти после уроков рассказывать ученикам о развитии первобытной культуры. По существу, это были мои первые доклады или, вернее, цикл докладов в кружке товарищей.

Для нас и, в частности, для меня, сестра сделала очень много. И живя с нами в Козельце, и позднее она беспощадно изобличала тех, у кого слово и политические взгляды расходились с делом. В эту категорию попадали и писатели, и подчас отец, а позднее — и я. Её работа народной учительницей на протяжении десятков лет давала ей большое удовлетворение. Моё последнее свидание с нею до революции состоялось в её школе в октябре 1917 г., а позднее в 1936 г. в Остре. Умерла Вера (а вслед за нею и жившая с нею сестра Соня) во время Отечественной войны, в оккупации, в 1942 г.

Во второй и третий год учёбы у Никифора Ивановича всех учеников особенно интересовали его уроки по географии. Прежде всего, он дал нам задание составить план классной комнаты, затем — школьного здания, всего школьного участка с нанесением на план всех строений, огорода и проч. Мы лентой измерили все стены, ограду, расстояния; определили величины углов пересечений, определили по устроенным во дворе школы солнечным часам направления и т. д. Потом задание было расширено: составить планы частей города, отдельных улиц и кварталов, берега реки Остра. При составлении плана квартала или улицы каждый должен был обойти пять-шесть домов, чтобы получить ответы на вопросы о числе жителей, их возрастном составе, занятиях и быте (откуда берут воду, получают жизненные припасы и пр.). Отдельные дома, кварталы, улицы объединялись на плане в общих подсчётах относительно населения, его занятий и получалось географическое описание, выведенное из наблюдений над населённым пунктом. После этого шли уроки о нашем уезде и губернии, а затем по географии всего нашего родного края. О встреченных при подробном ознакомлении с городом производственных предприятиях ученик делал детальное сообщение в классе. Брат мой подробно познакомился с винокуренным заводом в Алексеевщине. С помощью отца он составил не только планы завода и схемы процессов производства, но и сделал чертежи отдельных аппаратов. Никифор Иванович заставил его сделать несколько докладов в классе: о приготовлении солода, о бродильных чанах, перегонных аппаратах и пр.

Благодаря разбуженному Никифором Ивановичем интересу к естествознанию у нас развернулось соревнование и укрепились навыки собирания коллекций яиц, насекомых (особенно бабочек), камней и минералов, а также наиболее интересных гнёзд птиц — ремеза, иволги, зяблика и др. В связи с этим знания накапливались не по книжным описаниям, а из собственных наблюдений, на основе непосредственного, живого материала, варьирующегося и изменчивого и в то же время объединяемого в видовые и родовые понятия.

Сколько усилий и наблюдательности нужно было, чтобы найти среди куч камней на шоссе образцы гранита или кварца, полевого шпата и слюды, известняков и мела и выбить из мела молотком окаменелости — аммониты, белемниты и пр.! Какую радость доставляла находка гнезда редкой птицы! Так, например, в одном из отдалённых участков леса, в густой чаще на невысоком дереве мы увидели большое гнездо, из которого вылетел напуганный нашими криками крупный коршун, принятый нами сначала за орла. Взобравшись на дерево, брат мой сообщил, что в гнезде только одно яйцо. Мы обычно брали из гнезда только по одному яйцу при условии, что их было три или четыре, чтобы птица не заметила и не потеряла гнезда. Но тут дело шло о редкой породе вредного хищника, поэтому мы решили взять это яйцо. Как сейчас помню его особенности: не овальной, а почти правильной шарообразной формы, величиной поменьше куриного, тёмно-красного цвета, с чёрно-бурыми пятнами.

Собирание коллекций воспитывает и обостряет способность и привычку внимательно всматриваться в окружающую природу, чтобы найти новые, отсутствующие в коллекции виды и разновидности собираемых растений, насекомых или минералов. Всякая прогулка приобретает новый смысл. Развивается страсть к более отдалённым и трудным пешим прогулкам в новые места по берегам реки, в горы, степь.

Как много радостей от познания природы с её неисчерпаемыми красотами и неожиданными загадками, вызывающими неотступное желание их разгадать, понять и истолковать, связано было во все периоды детства, да и в более зрелые годы — в быстро пронесившиеся недели кратковременного летнего отдыха — с привычной страстью собирать, пополнять гербарии, коллекции минералов, геологических находок, насекомых. Особенно, пожалуй, бабочек!

Незабываемы часы вечерних сумерек, когда после сухого и жаркого летнего дня начинает веять свежестью ночи, трава и цветы покрываются росой и в лёгких движениях воздуха ощущаются ароматы жимолости, каприфоли или петуний... И вдруг, точно замирая над цветами, проносятся и реют крупные бражники: сиреневый, винный или молочайный. В виде какого-то непостижимого и необъяснимого события мне удалось однажды поймать залётного олеандрового бражника. Олеандры, листьями которого питаются гусеницы олеандрового бражника, поражающего своими размерами и причудливою красотой своей расцветки, растут лишь в Крыму или на Черноморском побережье Кавказа, в Болгарии. Значит, вывестись олеандровый бражник мог лишь там. Как же мог донести его к нам на Украину стремительный полёт, за сотни километров? А ведь мы с братом достовер-

но поймали его в Нежине тёмным украинским вечером на цветах каприфоли. Или вот была мною поймана самка тополевого бражника. Проколов её булавкой, я прикрепил её на подоконнике. Она стала откладывать яйца на подложенный под неё лист бумаги. Как только я открыл форточку, один за другим начали влетать и садиться возле самки великолепные, достаточно редкие у нас тополевые бражники-самцы. Значит, самка либо испускает какой-то слышимый за сотни метров запах, либо издаёт чрезвычайно высокий, не воспринимаемый нами звук. Возникает невольное стремление искать объяснение этого явления.

Много-много раз мы ловили в ночное время самого крупного из всех водившихся в наших широтах жуков — рогача или жука-олени. Подолгу жил он у нас в коробке, питаясь подслащённой водой. Когда его внимание привлекали какие-либо звуки, он настораживался, поднимаясь на первую пару ног и широко расставляя свои устрашающие огромные крепкие клешни. Стоило пустить к нему другого такого же вооруженного клешнями самца, как между ними завязывался бой. Нередко у обоих оказывались пробитыми насквозь жёсткие крылья, грудь и живот. Когда мы хотели засушить жука-олени, а предварительно нужно было его умертвить, сделать это было очень трудно. Опушенный в банку с чистым алкоголем, он через день-два не обнаруживал признаков жизни. Но, посаженный на булавку в ящике, он оживал, вертелся и портил коллекцию. Как-то мы обратили внимание, что подле одного старого дуба, на котором нам удавалось ловить крупные экземпляры жука-рогача (*Lucanus cervus*) валялись совершенно целые мёртвые, хорошо засохшие экземпляры таких жуков. Поймав самку, мы пускали к ней в коробку самца. Он наскакивал на неё, как петух на курицу. В отличие от других насекомых (жуков, стрекоз, бабочек) самец и самка не оставались связанными между собой. Просто самец через короткие промежутки времени наскакивал на самку. Если мы оставляли их вместе, обычно через два-три часа крупный старый самец падал мёртвым. Самку мы выпускали на дуб, где она откладывала яйца и перезимовывала, зарываясь на дне дупла, до следующего года. Этот способ умерщвления жуков-рогачей любовною смертью нигде не описан, и мы в детстве знали его только благодаря изощрённой наблюдательности любителей-коллекционеров.

А переходящая в своего рода спорт привычка собирать гербарий, засушивать растения, определять собранные при каждой прогулке экземпляры, — разве не ведёт она к более тонкому и разностороннему умению воспринимать разнообразие форм, размеров и расцветок отдельных видов растений и их сообществ, их соседства с другими видами. Природа — луг и лес, обрывы реки и поляны оживают во всём своём богатстве оттенков благодаря наличию различных видов капорского чая или иван-да-марьи, кампанул или спиреи. А потом, очутившись в какой-нибудь отдалённой местности, куда забросит вас причудливая игра жизненных извилистых путей, попав на луг или в лес, — с каким радостным чувством находите вы старых своих знакомцев: то какой-либо поручейник, гравилат, луговую герань или простую розетку. И в памяти оживают и проносятся перед вами родные картины безмятежного детства, точно встретили на далёкой чужбине старого хорошего знакомого. Это такое же успокаивающее и ободряющее

чувство, какое, выйдя на улицу, испытываешь в тёмную звёздную ночь в совсем незнакомой стране, за тысячи километров от родины, где и людская речь чужая, и все здания какие-то непривычные, и даже общие виды местности новые, не свои; но взглянешь на небо — и сразу всё налаживается, точно к своим вернулся, ибо всё оказывается на месте: и Большая Медведица, и всегда в размеренном от неё расстоянии Северная Полярная Звезда, и вся Малая Медведица, и «Велесожар» (Плеяды); и все созвездия те же, что и дома, на родине: и Капелла, и Лебедь, и Вега, Денеб и Альтаир, и Арктурус, и сверкающий Сириус.

В мае 1880 года, когда мы уже жили в учебное время в Козельце с Верой, а отец с остальной семьёй жили уже в Мостицах на опушке Галагановского леса, как-то совпали подряд три неучебных дня. Мы надумали пешком дойти до Мостиц, пробыть там один день и вернуться в срок к урокам в школе. До летних каникул оставалось ещё около месяца. Пройти пешком 20 вёрст (32 км) по не очень хорошо знакомой дороге, по которой лишь один раз пришлось проехать на лошади, казалось нам предприятием очень отважным, хотя мне было тогда уже десять лет, а брату — двенадцать. Но в то время было совершенно необычным отпускать детей нашего возраста в такой дальний путь одних. Но желание преодолело все препятствия — сестра разрешила. Взяли с собой немного провизии и рано утром, чуть взошло солнце, отправились через весь город. Выйдя на большой шлях, мы прошли около пяти вёрст до села Тополи, а затем свернули на просёлок. Над полями, зеленеющими от высокой ржи и густых всходов яровых, стояла прозрачная дымка утреннего тумана. Слышен был бой перепелов, непрерывно сверху неслись и падали далёкие и близкие звуки пения жаворонков. Поля и просторы казались необъятными. С дороги слетали посметухи и овсянки. Пройдя уверенным ходом часа два, мы подкрепились едой, немного отдохнули и двинулись дальше. По дороге и вблизи деревень леса не было видно, и только где-то совсем далеко через синеватый простор, на горизонте, заметны были силуэты темневших деревьев. Мы прошли ещё более часа; стала закрадываться тревога, не ошиблись ли мы дорогой. Но вот слева вдали засверкала гладь озера. Солнце уже поднялось и припекало. Мы через поле вдоль балки подошли к озеру, застывшему при безветрии. По берегу бегали, взлетали и издавали свои характерные крики «чайки» — так на Украине называли чибисов (*Vanelus cristata*). Среди засохших остатков прошлогоднего ситняка мы нашли несколько гнёзд с крупными коричневыми яйцами с чёрными пятнами. Взлетевший из-под самых ног куличок «песочник» пронёсся над самой водой и с красивым посвистом спустился на берег. Трудно было устоять от соблазна искупаться, и хотя мы горели желанием поскорее прийти к цели нашего путешествия, всё же пробархтались на этом озере, вероятно, не менее часа.

Только часа через два дошли мы до села Мостицы. Невысокая деревянная сельская церковь была для нас надёжным маяком и устранила всякие сомнения в правильности нашего пути. Обогнув село, мы вышли к лесу, а затем, к немалому изумлению и радости встретившей нас во дворе матери, попали домой. Мы чувствовали себя почти героями, осмотрели всё хозяйство, побывали на чердаке, где уже сидели в гнёздах на яйцах голубки. Одним словом, мы были наверху доступного смертным блаженства. На

листьях дубов, на высоких ветвях сидели квакушки (квакши) — маленькие ярко-зелёные лягушки — и оглашали воздух громким кваканьем. Через день к вечеру мы поехали обратно уже на лошади.

Событием, оставившим глубокий след в памяти, в следующем году было 1 марта 1881 г. Через несколько дней всех учеников повели в сопровождении учителей в собор. После панихиды и затем молебна на площади перед собором была проведена присяга новому царю. Слова присяги вместе со всем народом должны были повторять и школьники. Вскоре после этого события разнеслась взволновавшая всех учеников весть о том, что наш Никифор Иванович посажен в острог (городская тюрьма). Тогда, после убийства 1-го марта Александра II, со всех концов приходили вести об арестах. Никто не задавался вопросом, виноват ли, и в чём именно, попавший в беду. Менее всего такой вопрос мог бы возникнуть у учеников относительно Никифора Ивановича, которого все любили и уважали. Эта глубокая любовь и уважение к своему лучшему учителю выразилась в паломничестве учеников к острогу, которое постоянно обращало на себя внимание, пока там держали Никифора Ивановича. Оно повторялось, несмотря на все запреты. Некоторым ученикам удавалось через сторожей передать учителю булку, баранки и другую еду.

Как сейчас помню радость, когда в июне 1881 г. перед ссылкой мой учитель был выпущен из тюрьмы. Двое преподавателей и несколько учеников, в том числе и мы с братом, вместе с Лукьяновичем устроили прогулку на лодке по реке Остёр. Никифор Иванович был бодр, радостен, приветлив.

В том же июне мы с братом перешли из третьей группы в четвёртую, получив на экзаменах, как и в предыдущие годы, награду и похвальный лист. Но после каникул мы уже в Козелец не вернулись. По желанию отца с июня по август мы с Сергеем самостоятельно готовились к вступительным экзаменам в первый класс гимназии. Готовились по программе, полученной из Нежинской гимназии. В этой подготовке дело шло не о расширении понимания и познаний окружающей природы и жизни, не об усвоении полезных знаний, а о твёрдом заучивании правил правописания, употреблении буквы «ять», усвоении по Закону Божьему Ветхого и Нового Заветов, о грамматике и чистописании. Это заучивание и упражнения не захватывали и не были занимательными.

Отцу не легко было решиться отдать нас в гимназию. Материально это было для него просто непосильно. Высокая плата за право учения, расходы на обмундирование и обязательную гимназическую форму, дороговизна содержания в пансионатах (общих ученических квартирах). Сбережений у отца никаких не было. Средств едва хватало на жизнь своим хозяйством в деревне. Но годы шли, Сергею было уже 12 лет, мне — десять. Рассчитывать на поступление сразу в старшие классы было невозможно, т. к. тогда пришлось бы готовиться по латинскому, греческому и французскому языкам. И вот после долгого обдумывания и молчаливого переживания отец принял решение: мы должны, во что бы то ни стало, поступить в гимназию. С нами где-нибудь на окраине города в дешёвой квартирке должна будет жить и вести всё хозяйство без всякой прислуги мать, помогать ей будет сестра Соня, а старшая сестра Вера останется с отцом.

План этот был крайне труден для выполнения, но он был принят бесповоротно. Отец ездил в Нежин, привёз программы и руководство, и мы должны были со всей настойчивостью приняться за подготовку. И действительно мы каждый день по несколько часов занимались чистописанием, правописанием и другими предметами.

Это, однако, не мешало нам с Сергеем, а иногда и при участии старшего брата, ежедневно отправляться в лес то за ягодами, то за грибами, а то и просто в качестве искателей приключений и любителей природы. В период летних дождей, выйдя из дома до восхода солнца, мы к обеду возвращались с полными корзинами белых грибов, а собирать другие мы считали ниже своего достоинства. Иногда к нам присоединялись сёстры, и тогда шло соревнование. Кроме грибов, собирали землянику и попутно букеты цветов. Особая погоня была за лилиями (коричневыми с крапинкой «царскими кудрями»), лесными мечниками (шпажниками), медвежьим ухом (*digitalis*), синими ирисами и ярко синими горечавками...

Мы хорошо ознакомились с лесом, знали все его ближние участки, разделённые широкими прямыми просеками через каждую версту. Каждый участок составлял одну квадратную версту (100 десятин). На более высоких местах лес был преимущественно дубовый, а смешанный — дуб, берёза, осина, граб, черноклён, ольха — на более низких. Были кое-где болота, лес пересекала речонка Трубайло. Местами были густые заросли лесного орешника (лещины). Когда орехи созревали, мы собирали и их, заготавливали на зиму. Нередко с орешника падали и впивались в тело клещи. Впившегося клеща трудно вырвать, пока он не напьётся крови. Напившись, он становится похож на чёрную ягоду и тогда отваливается сам. Везде в лесу росли высокие, крупные папоротники. Их было много видов. В более низких местах были целые заросли чемерицы, валерианы, спиреи.

Лес обиловал представителями пернатого царства: тетеревами, куропатками. В болотных низинах водились дикие утки, кулики, цапли. В отдельных участках, куда нам было запрещено ходить, было много волчьих нор.

Как-то в середине лета мы с Сергеем были вдвоём в лесу. Как всегда, разумеется, с нами был наш неизменный спутник и друг, неутомимый Дизраэль. Так звали собаку, небольшую по росту, но исключительно умную, понятливую и во многих отношениях выдающуюся по природной одарённости. У нас была небольшая комнатная замечательной красоты собачка Жолька. В результате её случайной связи с совершенно ей неподходящей по росту легавой среди её щенков один, наиболее крупный, был оставлен для выкармливания его Жолькой. Это было в 1878 г., когда отец постоянно с возмущением бранил и ругал главу тогдашнего английского консервативного правительства, строившего козни против наших войск на Балканах, пославшего британский флот для военной демонстрации в поддержку Турции. И вот щенок был назван именем первого министра Англии — Дизраэль Биконсфильд, в обиходе же просто Дизраэль.

Во время описываемой прогулки мы углубились далеко в лес и стали рассматривать выходы из лисьей норы. Невдалеке от одного выхода оказался целый склад крыльев и голов с клювами тетеревов и куропаток. Я заметил, что Дизраэль замер в мёртвой стойке, устремив взор в одну точку.

Всмотревшись, я разглядел там притаившуюся, подползавшую к норе лису. По команде Дизраэль набросился на неё с дикой яростью. Мы поспешили ему на подмогу, Хотя лисица искусала ему морду, Дизраэль крепко прижал её зубами. Серёжа мгновенно снял свою куртку и накрыл ею лисицу. Пока я старался обхватить курткой лисицу снизу и завязать её вокруг рукавами, она успела просунуть морду и искусала мне во многих местах руку. Но всё же удалось завязать её так хорошо, что без дальнейших приключений мы принесли её домой. Закрыв хорошенько двери и окна, выпустили её из куртки, изрядно перепачканной к огорчению нашей, всё прощавшей нам, мамы.

Лисица была молодая, но уже довольно большая. Теперь мы могли её хорошенько рассмотреть, как ни старалась она спрятаться за шкаф или под кровать. Поймать живую лисицу — это была сенсация! Заперев тщательно дверь, все мы вышли в соседнюю комнату обедать. Когда через полчаса вернулись, то увидели валявшуюся на полу загрызенную лисицей породистую дорогую голубку, которая сидела на яйцах в гнезде, устроенном в ящике с высокими стенками. Ящик стоял под кроватью. Дело было непоправимое. Пропала и голубка, и насиженные яйца! Но что же делать с лисицей? Старшие решили: «Убрать прочь немедленно, т. к. от её мочи в комнате распространяется зловоние». Брат не мог простить лисице гибель своей голубки и не поддерживал меня в желании оставить рыжую, чтобы её приручить. И всё же я спас лисицу, когда она уже была поймана и посажена в мешок. Я унёс её в небольшое чердачное помещение, где стоял лишь небольшой столик и стул, и где окно было очень высоко от пола. Я обычно занимался в этом уединённом закутке, готовясь к гимназическому экзамену.

Сначала лисица очень дичилась. Голод, однако, заставил её дня через два-три брать мясо и пить молоко у меня из рук: других возможностей к пропитанию у неё не оставалось. Уже через неделю лисица вскакивала ко мне на руки, как только я приходил заниматься, и усаживалась на колени. Только в этом положении она получала свою пищу, которую мне не так то легко было обеспечивать при быстро нараставшем аппетите моей пленницы. Недели через две она была уже совсем ручная, назойливо требовала пищи, но всё же не позволяла себя гладить и больно кусалась при попытках её приласкать. Поев, она преспокойно сворачивалась клубком и лежала у меня на коленях, пока я занимался и не беспокоил её. На руках, в местах её укусов, делались болезненные пузыри, которые не сразу заживали.

Казалось, что лисица стала совсем ручной. Одно только оставалось у неё неизменным — постоянное стремление на волю. Она пыталась проскользнуть через дверь, когда там оставалась какая-нибудь щёлка, пыталась взобраться к окну, но оно было очень высоко над полом. На рассвете она громко кричала. Не выла, а издавала звуки, похожие на лай собаки. Иногда в ответ из леса доносился в предрассветной, утренней тишине такой же лисий лай.

Как-то на исходе третьей недели я в обычное время пришёл заниматься: стекло в окне было разбито и лисицы в комнате не оказалось. Она убежала, каким-то образом добравшись до окна, спрыгнула с крыши и, незамеченная собаками, ушла в лес. У нас говорили, что её сманила старая лисица.

Другое приключение, случившееся с нами в то лето, надолго осталось в памяти, хотя и закончилось вполне благополучно. Уже наступил август.

Считанные дни оставались до нашего отъезда в Нежин. После обильных дождей в лесу появилось много белых грибов. Как-то в воскресный день на рассвете Серёжа и я собрались за грибами. С нами отправился и старший брат Яков. Он интересовался, не начались ли уже утренние перелёты молодых уток, и потому мы пошли не по обычной лесной дороге, а взяли направление к болотистым низинам, где были небольшие озёра, а дальше протекал ручей Трубайло. Над болотами белой пеленой стлался туман. Мы вошли в прохладную сырую полосу тумана и подошли поближе к воде. В нескольких местах тяжело сорвались и понеслись над водой большие кряквы. Яков был очень раздосадован, что не взял с собой ружьё. Он готов был вернуться домой за ним и за собакой. Но мы ушли уже далеко от дома. Солнце поднялось и стало разгонять туман. Нашей целью были грибы. Перейдя через ручей, мы всё более и более углублялись в лес. Нашли грибные места, увлеклись грибной удачей. Время ускользало, не доходя до нашего сознания, не задевая внимания. Лес становился всё гуще. Несколько крупных нор вызвали у нас горячую дискуссию, чьи они — лисьи или волчьи. Мы съели захваченный с собой хлеб. Грибов было набрано достаточно, нужно было к обеду вернуться домой. Было ясно, что мы уже сильно опаздываем. Соображая, как найти путь покороче, мы взяли другое направление. Встретили болото и довольно долго его обходили. Вот выбрались на высокие места со стройными дубами и грабами. Места нам незнакомые. Пошли, чтобы пересечь какую-нибудь просеку и найти столб с указанием номера участка.

Так шли мы довольно долго, а просеки так и не встретили. Несколько раз меняли направление. И, наконец, пришли к заключению, что заблудились, зашли куда-то очень далеко. Отдохнув несколько, начали искать либо лесную сторожку, либо кого-нибудь из людей. Полная неудача! А тут кругом такие интересные, новые для нас места. Время клонилось уже к вечеру. Давала себя чувствовать изрядная охота покушать. После ряда тщетных попыток выйти на просеку или найти дорогу пришлось примириться с несёлым выводом о необходимости устраиваться на ночлег. Так как место незнакомое, а вокруг ещё и волчьи норы, и опасение, что при такой усталости мы заснём не чутким, а крепким сном, мы решили устроиться на ночлег не на земле, а на ветках дерева. Быстро наломали множество веток лещины. На дерево взобрался большой мастер этого дела Яков. Выбрав крупные сучья, он пригнул их друг к другу и крепко связал скрученными ветками лещины. Наложив на эту основу слой поданных нами веток, он изготовил удобное ложе. Нужно было думать, как облегчить подъём на это ложе для меня, т. к. я не умел лазать по деревьям. Но в это время в лесу послышались шаги и человеческий голос. Мы бросились навстречу. Пробиравшийся по лесной тропинке человек с большим изумлением и весёлым смехом услышал о нашем намерении заночевать в лесу. Он вывел нас на дорогу, по которой можно было выйти из леса и вёрст пять шагать до Мостищ.

Уже темнело, когда, наконец, мы, счастливые и голодные, пришли домой. Домашние уже были в большой тревоге за нас. Успокаивало лишь то, что с нами был старший брат.

С жизнью в Мостищах связано у меня воспоминание о священнике местного прихода старике отце Антонии. Он годами не был очень стар, дети

его были не старше нас, но выглядел совсем стариком. Он очень располагал к себе своею простотой. Говорил тихим ласковым голосом. Мне он казался человеком добрым и умудрённым жизнью. Когда заканчивались летние и осенние работы в огороде, на сенокосе и в поле, отец Антоний Нещерет очень часто бывал у нас, брал газеты и сельскохозяйственные книги у отца, любил потолковать о всяких газетных слухах. Но больше всего любил он поиграть в карты, если оказывались компаньоны, Это очень роняло его в моих глазах, так же как и то, что за ужином отец Антоний не отказывался от наливки. Но в нём мне нравилось полное отсутствие показного благочестия и ханжества, его свободные высказывания насчёт соблюдения постов и его доброе отношение к крестьянам и их нуждам. В нём не было лицемерия, столь свойственного людям его профессии, которые, как известно, обычно “*trinken heimlich Wein, und predigen öffentlich Wasser*”¹. Он жил, идя в ногу с передовыми течениями времени.

Спустя год-два после нашей жизни в Мостищах, когда мы проводили лето в Борках, я имел возможность близко наблюдать другого сельского священника — отца Ивана Пригоровского. Он тоже любил играть в карты и был особенно пристрастен к угощению хмельными напитками. Сельскохозяйственными работами он не увлекался, но, невзирая на свой священнический сан, любил охотиться. Приносил с собой под подрясником ружьё и, переодевшись у нас, отправлялся на охоту вместе с моими братьями. В нём не было и следа той умудрённости, простоты и доброты к людям, которые были так привлекательны в отце Нещерете, а выступали черты расчётливого карьеризма, грубого своекорыстия и лицемерного, показного благочестия.

Я помню замечательно милую матушку — жену отца Ивана, погружённую в заботы о своих многочисленных детях и очень много терпевшую от грубого, требовательного мужа, не умевшего делить заботы и труды со своей женой. В годы семинарской жизни — в семидесятые годы — он был, как будто, даже захвачен нередкими в те времена отзвуками свободомыслия и народолюбия. Но очень скоро после получения прихода у него, по существу, выветрился весь налёт семинарского свободомыслия и свободолюбия (кроме любви к выпивке и охоте), а распустились задатки и стремления к доходному приходу и карьере.

Учёба в Нежинской гимназии (1881–1889)

Когда от немногих ученических годов в Козелецком училище, ярко окрашенных незабываемыми впечатлениями от общения с Никифором Ивановичем Лукьяновичем, я пытаюсь перейти к гимназическим годам в Нежине, для меня является полной неожиданностью отсутствие в моей памяти отчётливых воспоминаний о последовательных этапах жизни при прохождении гимназического курса из класса в класс. Совершенно выпали из памяти первые дни учебы в гимназии. Не могу вспомнить, как проходили приём-

¹ Пей украдкой вино, а гласно проповедай воду (с нем.)

ные экзамены, как завязались первые знакомства и дружба с товарищами по классу. Вспоминаю о более поздних этапах общения с товарищами, когда через несколько месяцев к нам по воскресеньям приходили несколько одноклассников. Желая занять их, я показывал наши коллекции бабочек, яиц, минералов и всякого рода окаменелостей. При этом, говоря об ископаемых меловой и юрской формаций, наиболее распространённых в Черниговской губернии, я вскользь сказал, что геологический возраст соответственных пластов земной коры измеряется многими сотнями миллионов лет. Не в пример ученикам городского училища, гимназисты были изумлены таким богохульным сообщением, так как, ведь, от сотворения Господом Богом мира прошли не миллионы, а всего менее семи тысяч лет! На ближайшем уроке Закона Божьего один из моих воскресных гостей обратился с вопросом к законоучителю, отцу Хайнацкому, допустимо ли думать, что земля существует не шесть тысяч лет, а много миллионов? Мне было строго указано, чтобы я не вносил сомнения в умы верующих.

Однако уже в эти первые месяцы у нас установилась тесная дружба с одним оригинальным и своеобразным учеником нашего класса — Вячеславом Галякой. Он жил в соседнем доме. Его отец, выглядевший стариком, был всегда угрюм и неприветлив. Он служил старшим акцизным чиновником. Мать же, напротив, казалась совсем молодой. Эта цветущая приветливая женщина была всегда ласкова и гостеприимна. Она уделяла много внимания воспитанию Вячеслава, старалась развивать в нем самостоятельный характер, трудовые навыки, отвращение ко всякому чванству. Она была сестрой известного революционера Дебагария Мокриевича. Вячеслав во всем своем облике имел много общего с матерью. Под её влиянием он пристрастился к чтению, к самостоятельному поиску ответов в понимании окружающей жизни.

Оставаясь у нас до поздней ночи, Вячеслав с увлечением читал наши книги по естествознанию. Иногда он приносил свои книги и журнал «Свет», в котором печатались популярные статьи о мироздании и по естественным наукам.

В отличие от духа взаимной трудовой связи и дружественной поддержки, который был в городском училище, в гимназии в низших классах на переменах господствовал дикий хаос драк, шума и нападений друг на друга. Когда я по привычке к классу, я стал горячо убеждать не обижать более слабых, не нападать исподтишка и не терять в драках человеческого образа. Мне за эти мои уговаривания немало доставалось, но поскольку я никогда не обращался «к начальству», то есть к надзирателю или учителям, а взывал только к собственной совести и разуму драчунов, крикунов и подстрекателей, то мало-помалу меня стали слушаться.

Большим для меня огорчением бывало, когда в драку втягивали Вячеслава. Он был чувствителен ко всякой неправде, несправедливости и насилию над ним. Он приходил в состояние возбуждения, совершенно не помнил себя и, не взирая ни на какие удары, дрался до победного конца, даже когда в классе появлялся надзиратель. Уговоры и слова на него тогда не действовали. Они просто в эти минуты до него не доходили. Потом мне бывало очень его жалко, когда ему приходилось возвращаться домой с синяками.

Дружба и всё углублявшееся сближение с Вячеславом — главное, что осталось в памяти от первого класса. Да, пожалуй, ещё картины кулачных боев, которые происходили в конце Лицейской улицы у её соединения с Мегерской Слободой. Начинались бои, обычно, с выкриков мальчишек «Пошёл!», с которыми они появлялись с отдаленного конца Мегерки. Против них выступали группы мальчишек с другого конца слободы. От воинственных криков дело доходило до боя. Для подмоги собирались подростки, поперёк улицы образовывались живые стены, с криками надвигавшиеся друг на друга. Свою сторону бросались поддержать выскакивающие из ворот «скрынники». На другой стороне на подмогу бежали «бондари» и «гончары». Разгорался кулачный бой, затягивавшийся порой до поздней ночи. Бывали при этом случаи очень тяжёлых телесных повреждений: выбитый глаз, вывихнутая рука, переломы костей и пр. Не раз для прекращения боя приезжала пожарная команда, разгонявшая пришедших в азарт кулачников сильными струями воды из пожарных насосов. Это были последние годы кулачных боев. Когда я учился в последних классах гимназии, их уже не было.

Культурным центром, сложившимся в Нежине в связи с находившимся в нем «Лицеем князя Безбородко» — юридическим факультетом и лицейской гимназией — была площадь и улица с собственной библиотекой, женской гимназией, духовным училищем и несколькими магазинами. Эта главная улица носила название «Мостовой», так как только на ней была мостовая, да и то деревянная, в виде помоста из пластин, покрывавших проезжую часть. Но основную часть населения Нежина составляли имевшие свою «цеховую» организацию ремесленники. В действительности, это были работавшие не на заказ, а для сбыта на рынке, для продажи на всех украинских ярмарках мастера-кустари: «скрынники», бондари, гончары, сапожники. Свою продукцию — сундуки (скрины) для приданого, бочки (дежи) для теста, бочонки для соления огурцов и квашения капусты и прочие бондарные изделия, гончарную посуду, сапоги — они сбывали скупщикам, а отчасти и сами вывозили на ярмарки. Вот эти-то ремесленники и кустари, жители обширных нежинских «концов», и составляли основную массу участников уличных кулачных боев как отзвук уходящего в предание старого уклада жизни.

Более прочные и яркие воспоминания остались у меня от второго и третьего года гимназической жизни. Кончились благополучно переходные экзамены в июне 1882 г. из первого во второй класс. Как и во все последующие годы учения, я перешёл с наградой, перешёл и Серёжа. Мы спешно собирались ехать на каникулы в Мостищи. Нужно было организовать переезд с наименьшими затратами. Благодаря тому, что нежинские «скрины» вывозились на все ярмарки, в том числе в Козелец и Остёр, нашей матери без труда удалось найти возчика, хорошо знающего дорогу. Ещё с вечера к нам во двор приехал вместительный воз, запряжённый одной лошадью. С вечера уложили мы в него свои вещи, устроили из постельных принадлежностей удобные сиденья для матери и для себя. Мать заботливо готовила в путь продовольствие. Задолго до рассвета мы выехали из города, восход солнца встречали уже в поле. День был теплый, летний. Дорога местами

была тяжёлая, песчаная, и чтобы облегчить лошадь, вместе с возницей вставали и мы с братом, и шли пешком одну-две версты. Мы успевали, забегая вперёд, посмотреть посевы, зайти в придорожные заросли, луга. После полудня была для корма и отдыха лошади сделана передышка. Четыре-пять часов простояли. Мы с Серёжей успели побывать в ближайшей деревне, разузнать о дальнейшей дороге.

После обеда путешествие продолжалось по степной местности до позднего вечера. На ночлег остановились на широкой обочине дороги у небольшой берёзовой заросли. Спали на сене в телеге и возле неё, закутавшись одеялами, без удобств, но с таким удовольствием, с каким не спят в самых лучших постелях.

Утром путь лежал через окраину берёзового леса. Недалеко на раскорчёванных участках виднелись две-три хаты новосёлов. За несколько вёрст до Мостищ мы проехали через растянувшуюся вдоль дороги деревню Корниеву, где жил знакомый по фамилии Корниев. Мы заехали к нему напоить и покормить коня. Хозяин был очень гостеприимен. Любитель-пчеловод, он славился своей пасекой, и хотя для взятия из ульев сот было ещё не время, он всё-таки вырезал ножом большой кусок сотов, полных мёдом, и в деревянных «ночовках» принёс нам это лучшее из всех земных угощений.

Два месяца каникул пролетели неуловимо быстро. Частые прогулки за грибами, цветами и ягодами теперь были для нас ещё интереснее, потому что к нам часто присоединялись сёстры и их новые знакомые Шиловы — дочери главного лесничего Шило. Бывали у нас также отец Антоний Нещерет с дочерьми и сыном. Священник много рассказывал о жизни, нуждах и горестях многих своих прихожан. Приход его был бедный и, чтобы прокормиться Нещереты вели своё хозяйство. Сын его был значительно старше нас по возрасту, учился в духовной семинарии, но хотел перейти из неё в гимназию или в учительскую семинарию. Прежде неразлучный со мной брат Сергей теперь уже часто уходил один или со старшим братом на охоту.

После каникул мы поселились с матерью и сёстрами на другой квартире в Нежине. Второй год учёбы в гимназии памятен мне перенесённой тяжёлой скарлатиной. Насколько я теперь понимаю, у меня, как следствие скарлатины, было нервное заболевание. Ночью я просыпался в мучительном состоянии, в предчувствии чего-то невыносимо страшного. От головной боли и какого-то горящего огненного шара, ослеплявшего меня, я плакал и кричал и не сразу приходил в себя. Такое состояние повторилось два-три раза, но ужас перед возможностью повторения его долго не оставлял меня. Но на моих успехах в ученье после выздоровления это не отразилось.

Вследствие тяжёлого материального положения отца из-за неурожайного года обстановка нашей жизни в этом году была особенно безотраднa. Мать вынуждена была сдать мало подходящим жильцам большую часть квартиры, а мы ютились в одной комнате с сестрами.

Неизгладимо угнетающее, мрачное воспоминание осталось у меня именно от этого года жизни в Нежине из-за затяжного, длительного процесса внутреннего переживания чувства и сознания бесцельности жизни, отсутствия смысла её и значения. С особой силой и остротой это состояние

овладело мной в апреле–мае 1882 г. в связи с самоубийством исключённого из гимназии молодого человека Гойденко, нашего соседа по квартире.

В весенние месяцы, когда освободившаяся от снега земля ещё не покрыта густыми порослями свежей зелени, а весеннее жаркое солнце разогревает засохшие мёртвые остатки прошлогодних трав, и лёгкие ласкающие порывы весеннего ветра срывают с земли и шелестят сухими листьями, когда очнувшиеся после зимнего сна шмели вяло перелетают в тщетных поисках цветов, я всегда, сколько себя помню, подпадал под неопределённое тоскливое, унылое настроение. А тут вдруг — выстрел за соседними кустами в саду. Я увидел первый раз в жизни бездыханный труп человека, за минуту перед тем бывшего живым, мечтавшим, полным сил и стремлений. Этот вид ошеломил меня. От мыслей, от желаний и разочарований, от всего, что составляло жизнь этого человека, в одно мгновение не осталось ничего! Зачем же все стремления, познание, настойчивость, вся мучительная борьба, если от всего этого не остаётся ничего, если всё это разлетается бесследно, как засохшие листья? Зачем жить, когда раскрывшаяся перед моим сознанием пустота поглотила весь смысл, всякую цель существования? На долгий срок мною овладело какое-то внутреннее оцепенение. Отлетело всякое желание делиться своими внутренними переживаниями с другими. Автоматически ходил я на экзамены, встречался с товарищами, избегая разговоров с ними.

Затем наступили каникулы. Проходили летние месяцы, но внутреннее мое состояние всё еще было сосредоточено на основном переживании — зачем жить, зачем обогащать себя знаниями, когда ни для меня, ни для других эти знания не могут устранить бесцельности жизни, отсутствия смысла в ней...

Только осенью, уже в третьем классе гимназии, ко мне вернулась радость жизни, радость встречи с друзьями — Галякой и Левицким, но никогда никому из них я не говорил о пережитом мрачном угнетении, о потере воли к жизни и мыслях о бесцельности её, о мыслях покончить с жизнью. В моем сознании преодоление этого состояния вылилось в примиряющую формулу: жизнь преходяща, но у каждого вызывает она стремление к радости, борьбу против горя, окружающим хочется жить так же, как мне. Я должен поэтому все свои силы, все знания отдать на борьбу с человеческим горем.

Вся ранняя жизнь моя протекала вне города, на хуторах, у опушек леса и среди нескончаемых полей, в условиях сельскохозяйственного уклада жизни, среди совершенно ясных по своим смыслу и значению повседневных работ в поле или огороде, в саду или лесу, на лугу или гумне. Отрыв от этой ясной сельской жизни и переход к жизни в городских условиях тяжело переживались мною и порождали некоторое высокомерно-пренебрежительное отношение к горожанам, не понимающим самых элементарных вопросов настоящей трудовой жизни. Горожане не знали, когда и как пахать, откуда берутся хлеб, крупа. С другой стороны, переход к городской жизни вызывал всё обостряющуюся тоску по лугам и полям, по простору сельских далей, по звукам, по голосу жизни природы.

Вместе с братом Сергеем, учившимся со мною в одном классе с первого по четвёртый класс, мы часто уходили после уроков за город, чтобы ловить

сеткой перепелов, собирать коллекции яиц диких птиц весной, ловить насекомых и собирать растения для гербария. Не унаследованная, а естественно усвоенная с раннего детства от отца и старшей сестры привычка и умение приручать и выращивать диких животных, была постоянным источником больших радостей и ещё больших огорчений, когда прирученные питомцы погибали. Помню, будучи уже в четвёртом классе, ранней весной мы достали ещё совсем голого птенца арктической совы, залетающей зимой и в Черниговскую губернию и в феврале-марте выводящей птенцов, чтобы на лето с выросшими птенцами перелетать на север. Я с большим трудом выкормил совёнка. Выросла огромная белая птица (*Nyctea nivea*), привязавшаяся ко мне. Она жила во дворе в сарае, но когда мы приходили из гимназии, летела навстречу, садилась ко мне на плечо, оставалась в комнате до утра, с лёгкостью бесшумно перелетая со стола на голову и на другие предметы. Эта сова вызывала всеобщее изумление. Она нападала на собак, боявшихся её и убежавших при её появлении. От собак она и погибла, прожив больше года.

Каждый год с ранней осени непреодолимо было желание уйти в поле послушать первого жаворонка. И во всю последующую жизнь с пением жаворонка пробуждаются и оживают у меня в душе старые гимназические переживания. Точно из-под спуда, из-под многолетних накоплений внутренних обломков и руин, рождаются всякий раз при первом весеннем жаворонке отзвуки и воспоминания о падающих с далекой небесной синевы переливах жаворонка, такие же, как и много, много лет назад. Вот в памяти всплывает одна из ежегодно повторявшихся первых весенних прогулок подальше от города, на простор привольной природы. Солнце парит, хотя на поле ещё кое-где лежат полосы снега. Я и инженер Бакун за городом отдаёмся, каждый по-своему, наслаждению пробуждающейся природой. Это весна 1885 года, пятый класс гимназии. Песня жаворонка, не прерываясь, составляет общий звуковой фон природного единства в самых контрастно-несогласуемых, казалось бы, проявлениях. Обывательски обычный, но в то же время загадочный ещё тогда для меня тип инспектора по сахарным заводам, инженер-технолог Бакун. И рядом — я. Бесконечно далёкий от всякой обыденности, безмерно высоко стоящий в собственном самосознании над обывательским существованием, над всем затхлым и ничтожным прозябанием, интенсивно отдавшийся строительству нового человека, — таким был я в то время, полный напряжённой внутренней борьбы. Полная противоположность, казалось бы, немолодому, уравновешенному и спокойному Бакуну. Но нас что-то сближало в те весенние прогулки за городом, когда с высоты лился тёплый яркий солнечный свет и с ним переплетались ласкающие беззаботные переливы жаворонка. Это не была дружба. Не было взаимно нас связывающего единства волевых устремлений. Но было своеобразное, из глубины звучащее единство ощущения радости от пробуждавшейся после зимних оков природы, начинавших кое-где зеленеть былинки, просачивавшейся из-под зимнего снега по оттаявшим бороздкам воды.

На смену этому воспоминанию произвольно всплывает без хронологической связи другое. Это было тоже немало лет тому назад. Ранняя весна

в Попенках. Я выслан из Москвы под гласный надзор полиции. Первый по-настоящему тяжелый жизненный удар. Но я не забыт товарищами по беде. Письма от Полещука. Я стою у ещё не зазеленевшей акациевой изгороди и смотрю из сада в простор расстилающегося за дорогой поля. А настроение складывается под согревающим ярким весенним солнцем, под падающими с неба такими родными, неизменно вызывающими чувство беззаботности, переливами жаворонка.

Густенька каша, але ж каша та не наша,

А нам дистався кулиш, як хочешь, так его и ишь.

Так переживал первое наше крушение немолодой уже Полещук. Так писал он мне в Попенки в период изгнания. А жаворонок без горечи, без омрачающих предчувствий убедительно напевал, навевая вместе с солнцем другие настроения...

Так оживающие звуки пения жаворонка в связи с воспоминаниями о первых весенних прогулках в далёкие гимназические годы будят давно забытые, когда-то волновавшие события. А теперь эти звуки рождают желание оживить, вернуть ушедшее. Как-то само собою явилось это отступление, как яркое свидетельство того, что наша память хранит отзвуки прошлого, не связывая их хронологически.

Возвращаюсь к прерванной нити рассказа о гимназических годах. С третьего класса в наш тесный дружеский круг вошел Константин Левицкий. Его старший брат был уже в одном из старших классов. Ученики этих классов казались нам уже вполне взрослыми, замечательно образованными, умными и значительными людьми. Не то, что опустившиеся и погрязшие в тине мелкой обывательской суеты некоторые наши учителя, задававшие нам уроки «от сих до сих». Невзирая на то, что Константин Левицкий был совсем другого склада, чем я и Галяка, дружба нашей тройки крепла. Левицкий не был прямолинейным ригористом, он, кажется, даже курил, но, как и мы, был чужд всяких мещанских предрассудков, отличался свободомыслием.

Но главное, что нас особенно подкупало, он сам много читал, и через него можно было получить те книги, которые читали импонировавшие нам товарищи его старшего брата — Смольский, Лукашевич, Алферов, имевшие вид совершенно взрослых людей. Левицкий был католик и поэтому освобожден от обязательного присутствия на уроках Закона Божьего и зазубривания Катехизиса, над которым чрезвычайно вольнодумно издевался. Помню, Костик, как мы его звали, возвратясь после летних каникул из Белополья, где жила его семья, много рассказывал о толстовской колонии, основанной князем Хилковым и его женой для трудовой жизни высокоинтеллигентных людей, последовательно и полностью отказавшихся от всяких привилегий и попытавшихся устроить свое существование в полном согласии и соответствии со своими убеждениями о равенстве людей и требованием отказа от эксплуатации трудящихся. Как известно, вскоре потом эта толстовская колония была ликвидирована, по приказу царя у князя Хилкова были отняты дети и отданы на воспитание опекунам из высшего дворянства.

Долго и упорно держалось у меня в Нежине весьма скептическое отношение к жителям города, ко всему содержанию их жизни, деятельности

и обстановке. В селе задачи, значение и смысл жизни были ясны. Нужно было своевременно вспахать или вскопать землю для того, чтобы посеять рожь или пшеницу, чечевицу или овёс, или чтобы засадить огород. Нужно было затем собрать жатву, потом обмолотить и свезти на мельницу. Нужно было обеспечить запасы кормов для коров и лошадей, для питания людей в течение всего года. Ясно было, что если не засеять и не убрать вовремя лен или коноплю, то не будет волокна для полотна на простыни, на «рядна». Все это было делом не шуточным, а необходимым, жизненно важным. А в городе люди ни хлеба, ни кормов не выращивали, коров и овец не содержали. Они не жили трудами рук своих, а были либо чиновниками во всяких канцеляриях, опутывавших жизнь никому не нужными бумагами, либо торговали, перепродавая то, что было не ими произведено, и наживаясь при этом.

На почве этих моих настроений я с глубоким интересом читал брошюры Л. Н. Толстого о необходимости жить трудами рук своих. У меня даже сложился и держался года два (третий и четвёртый класс) план — не в качестве общественной программы, а для себя лично — в будущем, по окончании гимназии, жить «трусами рук своих», обрабатывая небольшой участок — не более четырёх десятин (5,8 га) — без наёмного труда; быть примером для других, работая среди народа, вместе с народом, поднимая уровень знаний и культуры населения, пробуждая в людях сознание своего достоинства и гражданских прав. Я собирался обходиться без наёмного труда для обслуживания самого себя, не отговариваться тем, что иначе невозможно заниматься наукой и быть проводником культуры и научных знаний среди населения.

В короткий период пребывания в Козелецком училище при всём увлечении в летний период прогулками в лес и собиранием коллекций и том огромном интересе, который вызывали у нас работы в саду, в поле или в клуне, в конце лета мы хотели поскорее вернуться в училище, чтобы заниматься выполнением всегда интересных для нас заданий Никифора Ивановича, показать ему собранные за лето пополнения коллекций, узнать от него обо всём, что показалось непонятным летом. В течение же всего гимназического периода ни у меня, ни у Серёжи никогда, ни одного раза за все каникулы, не появлялось желания вернуться в Нежин, поскорее узнать, что будем проходить в следующем классе. Учение в гимназии было отбыванием обязательной повинности. Поэтому всё чаще по утрам, а то и среди дня приходила омрачавшая настроение мысль, что скоро придётся собираться к отъезду. Вот уже пришло жниво, с полей свозят полукопки, а в клуне гудит конная молотилка. Давно уже скошена трава на сырых лугах. Мы любили тогда по просохшему лугу бежать к обмелевшей за лето реке. На лугу в кочковатой мшистой земле мы находили гнезда небольших желтобрюхих шмелей. Несмотря на риск быть покусанными ими, мы разрывали гнездо, захватывали грозди сот, а на гнездо набрасывали сено. Отбежав подальше, мы находили среди сот ячейки, наполненные прозрачным мёдом, которым мы и лакомились. Шмелиный мёд, а для Серёжи — охота за дупелями на том же лугу или на капустных посадках — это уже преддверие конца каникул. И с тягостным чувством, а вовсе не с желанием начинались сборы к отъезду.

Большим огорчением для меня была неудача Сергея на экзаменах при переходе из четвёртого в пятый класс. Он был оставлен на второй год в четвёртом классе.

Лето 1884 года мы проводили уже не в Мостищах, а в Борках, куда вернулся на прежнюю работу отец. Это лето было для меня очень тяжёлым. В самом начале каникул я заболел брюшным тифом. Болел очень долго. Несколько раз из Козельца привозили доктора Гольдвуха. Самым мучительным, не изгладившимся до сих пор в памяти, были завертывания в холодные (ледяные) простыни. К концу болезни образовались пролежни, заживление которых особенно затянулось. Вполне оправился я только к концу каникул. Никогда не забыть мне ласки, слёз и самоотверженного ухода за мной моей матери.

Всё, чему мы обучались в гимназии до пятого класса — латинский и греческий языки, их этимология и синтаксис, стихосложение, история по Иловайскому и Беллярминову, Закон Божий с заучиванием на память всего Катехизиса, даже арифметика и алгебра — всё было оторвано от жизни, всё не имело никакого отношения к познанию окружающего мира, к пониманию и истолкованию явлений, возбуждавших любознательность и требовавших ответа. В качестве обоснования и оправдания огромных усилий и трудов, которые на уроках и дома затрачивались на заучивание всего этого мёртвого, не нужного для применения в жизни материала, выдвигался, и до известной степени принимался нами тезис о том, что классические языки, как и алгебра, своим логическим построением, своею законченностью, служат незаменимой школой для развития умственных способностей к последовательному познанию, что это система упражнений, необходимых для развития и укрепления памяти. Как для развития физических сил, для придания телу гармонической соразмерности и красоты нужны занятия гимнастикой, нужны физические упражнения, так для формирования умственных сил, для выработки и развития способностей к умственному труду необходима длительная умственная гимнастика, которою является вся система классического образования. Но, увы! Лживость всего этого рассуждения была для нас совершенно очевидна. Мы видели и на себе испытывали, как вянет в гимназии живая любознательность, как заменяется тупым зазубриванием заданных уроков настойчивое стремление понять, раскрыть причины и связь явлений. Только в пятом классе явилась отдушина в системе обучения мёртвым предметам, когда в программе некоторое, хотя и очень скромное место было отведено физике. Появившийся в гимназии новый учитель Винклер, из прибалтийских немцев, занялся приведением в порядок физического кабинета. На уроки приносил приборы. Некоторые ученики старались помогать ему, и, чтобы лучше понять приборы, особенно по разделу электричества, стали читать не только учебники, но и приобретаемую нами самими литературу и пособия.

У моего брата возникла мысль устраивать простейшие приборы своими силами. Первым таким прибором был электрофор. На базаре мы купили несколько фунтов твёрдой смолы «пека», добавили к ней канифоли, всё это растопили и вылили в старое решето. Затем вырезали по размерам решета картонный круг, обклеили его оловянными листами и подвесили его

на шелковых нитках. Смолу натирали сухой суконкой, затем прикладывали круг. Мы вызывали восторг окружающих, извлекая из круга искры. Следующим шагом было изготовление лейденской банки. Большая банка из-под варенья была оклеена изнутри серебряной фольгой, наполнена охотничьей дробью. Кондуктором служила вставленная в дробь столовая ложка. Банка заряжалась электричеством от самодельного электрофора. Разряды получались более сильные, дававшие очень значительное ощущение в локтях. Потом были изготовлены самодельные элементы для постоянного тока. К этому времени уже образовался целый кружок для занятий опытной физикой и для простейших опытов по химии. В него входили человек восемь из нашего класса, впрочем, двое-трое были и из четвёртого, из числа тех, кому мы давали книги для чтения. У нас уже тогда были библиотечка с такими книгами, которых из гимназической библиотеки не выдавали — Писарев, повести Шеллера (псевд. — Михайлов), Оммулевского, роман Чернышевского «Что делать?» и др.

Все собрания кружка и опыты происходили у нас на квартире. Тогда мы с матерью жили на окраине города. После перехода в шестой класс, когда отец вернулся на место управляющего имением в Борках, где ему была отведена соответственная квартира, мы перешли на «общую квартиру» в пансионе Добрянницкой. Я был назначен старшим этой квартиры.

Книги нашего кружка хранились у Галяки, а случайно оставшиеся у нас на ночь прятались от взора надзирателя, систематически посещавшего квартиру. У меня был простой и надежный способ: книги перевязывались, обертывались старой клеенкой и спускались через окно на веревке. Окно выходило в старый запущенный сад. Однажды, вне всякого нашего предвидения, вместо надзирателя поздно вечером ночной дозор совершал тогдашний наш класный наставник учитель истории Сребницкий. Все было благополучно. Однако никому из нас не пришло в голову спрятать наш самодельный электрофор. Среди книг, подвергшихся подробному осмотру, оказался общеизвестный учебник ботаники Любена, а в ящике стола моего брата было обнаружено изданное в 60-х годах с благословения Священного Синода Евангелие на украинском языке. Всегда серьезный, благоволивший ко мне за хорошие ответы Сребницкий внушительно заметил мне, чтобы ни Любена, ни Евангелия в «общей квартире» не было. «Это может угрожать исключением из гимназии», — сказал он мне, понизив голос.

Посещение Сребницкого, как выяснилось вскоре, имело спасительные последствия. Неожиданно из учебного округа из Киева приехал с особым поручением член Наблюдательного Совета по ограждению гимназий от проникновения тлетворных влияний. Вслед за Сребницким явился наш надзиратель в сопровождении ревизора, который тщательно просмотрел книги на полках и столах каждого из двух десятков обитателей нашей общей квартиры. Разумеется, ни Евангелия, ни учебника ботаники, ни вообще каких-либо книг с намеками на вольнодумство он не обнаружил. Электрофор не ускользнул от его внимания. Он в очень дружелюбном тоне беседовал с учениками о прочитанных ими книгах и из этой беседы, конечно, мог убедиться в исключительной благонадёжности учеников, которые никаких книг, кроме Державина и Карамзина, и в крайнем пределе Жуковского,

Пушкина и Гоголя, не читали и даже не слышали о всяких тлетворных писателях. В заключение высокое начальство побеседовало запросто со мною и очень одобрительно отнеслось к господствующему среди учеников общему интересу к классикам — Овидию, Гомеру и к нашим поэтам Жуковскому и Державину. Даже электрофор не вызвал особого нареkania. Я рассказал, насколько его устройство облегчило пятиклассникам подготовку к урокам по физике. Таким образом, приезд «ревизора» обошёлся благополучно.

Но, вернувшись из гимназии после его отъезда, мы узнали, что приходил надзиратель со сторожем и по приказу директора унесли злосчастный электрофор. На следующий день меня вызвали к директору Скворцову. Это уже было более чем плохо. Электрофор стоял на столе. Без всяких предисловий директор в упор ставит вопрос: «Кому пришла мысль, и кто изготовил эту штуку?» С полным простодушием, как особую заслугу, я приписал себе счастливую мысль помочь отстающим по физике двум ученикам в нашей квартире с помощью электрофора. В результате директор внушительно распорядился, чтобы впредь никаких приборов и опытов в квартире не делать. Все, что нужно, есть в физическом кабинете, куда будет сдан и наш электрофор. «Смотри же и пойми, что этого допустить нельзя! Сегодня электрофор, завтра — взрывчатые вещества, а потом и бомбы! Невинная, на первый взгляд, затея с электрофором — это первая ступень к виселице». Страшен сон, да милостив Бог. Невзирая на такой устрашающий конец беседы, директор милостиво отпустил меня.

Если бы нужно было одним штрихом охарактеризовать отношения между учащимися и преподавателями в Нежинской гимназии периода 80-х годов, то можно было бы сказать, что это были отношения двух враждующих сторон, двух лагерей, находящихся в постоянной непримиримой войне между собой. Всё начальство, сверху донизу, от директора, инспектора и классного наставника до любого учителя и надзирателя было объединено заботами не о наших успехах в науках, не об улучшении преподавания, а о том, чтобы лучше выследить и предать учащихся, выслужиться перед директором доносом. На улицах учитель подмечал, кто из учеников нарушил форму, не так поклонился, гулял в неурочный час, и всё это доносил директору. За всё это накладывались взыскания. Любые признаки вольнодумства, чтение недозволенных книг, если только об этом узнавал учитель, доводились до сведения начальства, а это могло привести к изгнанию из школы.

Ученики платили учителям и гимназическому начальству ответными военными действиями. Необходимость самозащиты объединяла их, вырабатывалось чувство круговой поруки.

Иногда в этой мрачной картине непримиримой враждебности пробиwался луч дружественного сотрудничества. Но всегда такое нарушение общего положения заканчивалось возвратом к состоянию войны. Особенно ярким примером были наши отношения к «физику» — Якову Эрнестовичу Винклеру. Казалось, что он интересуется знанием. И мы, ученики, стремились помогать ему в физическом кабинете, в классе родилось соревнование в решении самых трудных задач по геометрии, например, Аппелониевых задач на геометрические построения сложных алгебраических выражений и пр. Когда (сколько помню, это было в октябре 1885 г.) поздно вечером и

ночью произошло величественное явление «звёздного дождя», мы побежали к Винклеру на квартиру, чтобы разбудить его и пригласить понаблюдать за этим явлением и облегчить нам его понимание. У Якова Эрнестовича появились среди учеников преданные друзья. В нашем классе таким стал Тимофей Локоть. Это был очень начитанный, вдумчивый, самостоятельный юноша. Винклер приглашал его к себе. Дружба была длительная. Естественно, беседы велись вполне откровенные. Каково же было изумление Локотя, когда он вдруг был вызван к директору. Ему угрожало исключение за чтение Чернышевского и Писарева и за атеистические высказывания в разговорах с Винклером. Глубоко возмущённый Локоть пришел на урок физика. Я помню тяжелую сцену: Локоть перед всем классом поставил Винклеру вопрос: «Вы донесли на меня директору?» — и затем громко и внятно, в упор заявил покрасневшему и смущённому учителю: «Яков Эрнестович, вы — подлец!»

Разумеется, Локоть был исключен из гимназии. Наше же отношение к Винклеру, который, как ни в чём не бывало, остался на своем месте, коренным образом изменилось. Это ярко проявилось в том, что в числе учителей, которым группа сильно выпивших абитуриентов побила окна года два спустя, оказался и прежний «друг» учащихся Я. Э. Винклер.

Помню, каким почтением пользовался сначала молодой талантливый учитель русского языка и словесности Белорусов, автор «Этимологии и синтаксиса русского языка». И как круто изменилось отношение к нему, когда он окончательно обнаружил себя как заурядный член гимназического начальства. То же было и с новым учителем немецкого языка, назначенным после смерти швейцарца Гришота, плохо говорившего по-русски и совершенно бесплодно, в смысле овладения нами немецким языком, ведшего упорную борьбу за дисциплину в классе. У него была привычка постоянно копаться в своих карманах в поисках носового платка. Пока он ходил по классу, ученики успевали мелом, углем, а иногда и чернилами запачкать сзади фалды его фрака, поэтому и руки его были запачканы.

Когда вместо Гришота появился стройный, крупного роста, образованный молодой учитель, только что окончивший Дерптский университет, он прекрасно овладел классом. Его филологические объяснения происхождения немецких слов, его чтение, с дополнительными замечаниями, отрывков из немецких классиков создали здоровую обстановку внимания и интереса к предмету. Он охотно отвечал на вопросы, с которыми к нему обращались. Но прошел год, другой, он вошел в учительскую среду, стал угрожать наказаниями, и мало-помалу отношение к нему класса изменилось.

Постоянные требования гимназического начальства к учителям о поддержании внешней дисциплины, о внушении ученикам необходимости беспрекословного подчинения, постоянная боязнь учителей навлечь на себя подозрение в либерализме, боязнь повредить своей карьере делали своё дело и принижали педагога до уровня гимназического учительского болота.

Мы даже в младших классах знали, чем занимаются наши учителя. Вот, к примеру, учитель русского языка Иван Николаевич Михайловский. Очень серьёзный, с окладистой бородой, обычно благожелательный человек. Вхо-